КАРЛ ПОЛАНЬИ

ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
МОСКВА 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Наталья Розинская. Карл Поланьи: В поисках свободы 7

О ВЕРЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ 22
Определение современной фазы нашей цивилизации 22
Иллюзия экономических мотивов 24

НАША УСТАРЕВШАЯ РЫНОЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 31
Цивилизация должна обрести новый образ мысли 31
Главная ересь 32
Рыночный шок 33
Царство голода и выгоды 35
Факты 36
Истоки заблуждения 39
Экономический детерминизм 40
Секс и голод 41
Реальность общества 43
Проблема свободы 44
Человек против индустрии 46

ЭКОНОМИКА КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС 47
Формальное и содержательное значения экономического 50
Реципрокность, перераспределение и обмен 56
Формы торговли, использование денег и элементы рынка 64

МЕСТО ЭКОНОМИКИ В ОБЩЕСТВЕ 82
Приложение 86

СЕМАНТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ 89
Псевдофилософские теории денег 89
Многоцелевые деньги и деньги специального назначения 91
Обменные деньги 93
Использование денег в качестве средства платежа 94
Накопление денег и хранение богатства 97

Использование денег в качестве меры стоимости 98
Элитный кругооборот и финансирование массовых продуктов . . 98
Вавилон и Дагомея 102

ТОРГОВЫЕ ПОРТЫ В РАННИХ ОБЩЕСТВАХ 104

АРИСТОТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ ЭКОНОМИКУ 117
Анонимность экономики в раннем обществе 121
Исследования Аристотеля 134
Социологическая направленность 136
Естественная торговля и справедливая цена 139
Эквивалентность в обмене 144
Тексты 149

ВЗГЛЯДЫ НА МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В ОБЩЕСТВЕ: ОТ ШАРЛЯ МОНТЕСКЬЕ ДО МАКСА ВЕБЕРА . . 153
Шарль Монтескье (1748) 155
Франсуа Кенэ (1758) 155
Адам Смит (1776) 158
Джозеф Таунсенд (1786) 159
Томас Мальтус (1798) 160
Давид Рикардо (1817) 161
Генри Кэри (1837) 162
Фридрих Лист (1840) 163
Карл Маркс (1859) 163
Карл Менгер (1871) 164
Макс Вебер (1905) 165

СУЩНОСТЬ ФАШИЗМА 169
I. Фашистский антииндивидуализм 172
II. Атеистический и христианский индивидуализм 176
III. Решения 180
IV. Душа против духа 181
V. Шпанн, Гегель и Маркс 182
VI. Клагес, Ницше и Маркс 184
VII. Расизм и мистицизм 189
VIII. Победа витализма 191
IX. Социология фашизма 196

НАТАЛЬЯ РОЗИНСКАЯ

КАРЛ ПОЛАНЬИ: В ПОИСКАХ СВОБОДЫ

Первая половина XX века была эпохой грандиозных политических потрясений: рушились империи, несколько раз перекраивалась карта Европы. Предшествовали этим событиям и сопровождали их не менее грандиозные социально-экономические изменения: промышленный переворот и становление индустриального общества. Естественно, эпоха перемен породила целую плеяду великих мыслителей, которые, во-первых, пытались понять суть происходящего и, во-вторых, будучи неудовлетворенными существующей системой, стремились предложить собственный вариант справедливого общественного устройства. Одним из таких мыслителей был Карл Поланьи.

Поланьи был современником таких событий, как русская и венгерская революции, Первая мировая война, Великая депрессия, приход к власти фашизма в Европе и Вторая мировая война. Он видел результаты Нового курса Рузвельта и первых пятилеток в России. При этом он не был пассивным наблюдателем. Иногда сознательно, иногда против своей воли он оказался вовлечен практически во все основные события начала XX века. Живя в самом центре Европы, он активно участвует в революционном движении, сражается на фронтах Первой мировой войны, на себе испытывает все ужасы контрреволюционного террора и фашизма, материальные последствия Великой депрессии. Анализируя этот переломный период, Поланьи пытается объяснить все эти события, найти их истоки и, главное, предусмотреть последствия.

Каким должно быть социально-экономическое устройство общества, состоящего из индивидов, свободных от рынка и государства, — проблема, которая остается главной во всех периодах его творчества. Работы Карла Поланьи — это калейдоскоп глубоких и интересных идей, концепций, теорий. Однако некоторая мозаичность порождает иногда ощущение противоречивости и дискретности его исследований. Для того чтобы преодолеть это ощущение, необходимо понять и определить, что Поланьи понимает под тем

или иным термином, а также помнить о том, что многие его тезисы были вызваны желанием опровергнуть господствующие в тот период радикальные концепции. Причем радикализм он критиковал во всех его проявлениях: и леворадикальные коммунистические теории, и праворадикальный либерализм. Кроме того, следует учитывать, что исследования Карла Поланьи были реакцией на реальные исторические события, которые, собственно, и ставили перед ним вопросы, задавали ему тему исследований. И только тогда можно увидеть, что теория Поланьи достаточно целостна и непротиворечива. Идея свободы и естественным образом связанная с ней идея ответственности обычного, рядового индивида проходит неразрывной нитью через все его произведения.

В научной биографии Карла Поланьи можно выделить пять периодов, когда у него возникала необходимость менять как место жительства, так и весь образ жизни.

Карл Поланьи родился в еврейской семье в Вене в 1886 году. Он бы третьим ребенком в семье Михайла Полачек и Сесиль Воул. М. Полачек был успешным предпринимателем в области железнодорожного строительства. В конце 1880-х годов у него появляются интересные контракты в Венгрии, и он вместе со всей семьей переезжает в Будапешт, где и прошли детство и юность К. Поланьи.

Семья Полачек была достаточно состоятельной, она принадлежала к верхнему уровню среднего класса будапештского общества. Но, несмотря на достаток, отец был сторонником спартанского воспитания своих пятерых детей. Только в возрасте 13 лет детям было позволено ходить в школу. До этого времени их образованием занимались домашние учителя в соответствии с самыми высокими стандартами, которые существовали тогда в Европе. Программа была очень насыщенной, и требования — очень жесткими. Большое внимание уделялось физическому развитию: физкультура, особенно у мальчиков, была важнейшим компонентом образовательной программы. Кроме образования М. Полачек дал своим детям мадьярскую фамилию и крестил их в протестантской вере.

Несмотря на строгость и требовательность отца, дети его обожали. М. Полачек, бесспорно, был именно тем человеком, который оказал наибольшее влияние на Карла Поланьи. Смерть отца в 1906 году была для всех детей большим ударом. Поланьи до конца своей жизни не мог примириться с этим. Каждый год в день годовщины смерти отца он писал об отце письма своим братьям и сестрам. И после смерти последней сестры Лауры в 1959 году он продолжал эту традицию в письмах к дочери Кари до своей смерти в 1964 году.

Еще один человек, который оказал значительное влияние на молодого Поланьи, был русский народник Семен Клачко. Семьи Полачек и Клачко были очень близки, часто вместе ездили отдыхать, много времени проводили друг с другом. Клачко в Будапеште не прекращал заниматься революционной деятельностью, поэтому в квартире Полачек часто появлялись русские борцы с царским режимом. Карл Поланьи достаточно рано оказывается в круговороте революционных споров и дискуссий об идеальном устройстве общества. Он очень уважал Клачко и восхищался русскими революционерами. По воспоминаниям жены Поланьи, он восторгался вообще всеми революционерами, и, что особенно интересно, первым революционером он считал Иисуса из Назарета. Поэтому неудивительно, что свою собственную революционную деятельность Поланьи начал в 1902 году, будучи гимназистом, когда ему было 16 лет. Он присоединился к социалистической студенческой организации, которую основали его старший брат Адольф и один из двоюродных братьев. В рамках деятельности этой организации Поланьи впервые обращается к работам Маркса и знакомится с социал-демократическим движением. Правда, к 1907 году он разочаровывается и в том и в другом и выходит из организации, хотя к Марксу в своей жизни Поланьи еще неоднократно будет возвращаться.

Социал-демократические идеи того времени, предполагающие диктатуру пролетариата, оказались несовместимыми с его представлениями о свободе. Что же К. Поланьи понимал под свободой?

Первоначально для него это была духовная, интеллектуальная свобода, раскрепощение ума, свобода, предполагающая определенный уровень образованности. Образование, с его точки зрения, ведет к повышению уровня сознательности и, главное, ответственности: прежде всего за себя, а затем — за общество в целом. Пытаясь воплотить эти идеи в жизнь, Поланьи активно участвует в образовательных программах для рабочего класса.

В 1908 году группа студентов, поддерживающих одного из прогрессивных профессоров Будапештского университета, организовала кружок Галилея. Карл Поланьи становится его первым президентом. Главной задачей кружка было объявлено повышение социальной сознательности общества посредством повышения уровня образования. За годы функционирования этого кружка десятки тысяч безграмотных рабочих научились читать и писать. Уже в первый год кружок насчитывал более двух тысяч членов. Стоит отметить, что члены этого кружка не призывали к смене социально-экономического строя. Они, скорее, стремились к увеличению

степени интеллектуальной и духовной свободы индивидов, к раскрепощению умов, что должно было бы, с их точки зрения, привести к увеличению сознательности и социальной ответственности людей и, следовательно, увеличению демократии.

Здесь, несомненно, сказывается влияние идей представителей австромарксизма (Бауэр, Реннер, Фридрих и Макс Адлеры), которые отвергали революционный опыт большевиков и рассматривали социальную революцию как длительную цепь социально-политических и экономических реформ, где культурная революция играет ключевую роль. Правда, впоследствии Поланьи оценивал эти идеи как идеалистические и популистские, однако поднятая тогда тема свободы и ответственности как основы демократического общества стала лейтмотивом всей его дальнейшей работы.

Первый наиболее спокойный и беззаботный период жизни Поланьи резко обрывается в 1906 году, когда внезапно умирает его отец. Смерть отца привела к тому, что семья практически распалась. Незадолго до смерти финансовые дела М. Полачека резко ухудшились, и семья оказалась банкротом. Старшие дети, в том числе и Карл Поланьи, стали намного больше работать, чтобы помогать остальным родственникам. В 1912 году Поланьи был вынужден идти на службу в юридическую контору своего дяди. Деятельность адвоката настолько не нравилась Поланьи, что призыв на военную службу в 1915 году оказался для него облегчением, так как освобождал от ненавистной работы. В 1917 году он был признан негодным к военной службе по состоянию здоровья и был отправлен в военный госпиталь.

В октябре 1918 года в результате революции «осенней розы» была свергнута Венгерская монархия. В марте 1919 года Венгрия провозглашается Советской Республикой, и новая власть ставит задачу мирного перехода к пролетарской революции и установлению диктатуры пролетариата. Поланьи в своих статьях резко выступает против установления диктатуры пролетариата, а также предупреждает об опасности, к которой ведет радикализация общества. Советы в Венгрии продержалась у власти недолго. Уже в апреле 1919 года началась вооруженная интервенция Антанты, в августе к власти приходит буржуазное правительство, а в ноябре в Будапешт на белом коне въезжает адмирал М. Хорти, и репрессии революционеров против мадьярской аристократии сменяются репрессиями против коммунистов и социалистов. Поланьи покидает Венгрию в середине бурного 1919 года. Эмиграция в Вену в 1919 году, связанная с приходом в Венгрии к власти коммунистов, отделяет второй этап от третьего.

В Австрии события в этот период развивались менее драматично. Ведущие австрийские партии сумели перевести революционный процесс в русло конструктивных правовых преобразований. Им удалось обеспечить полную преемственность власти при коренном изменении государственного строя. Поланьи прибыл в Вену, когда там уже прошли первые прямые всеобщие выборы в Учредительное собрание, решением которого было сформировано временное правительство под руководством социал-демократа Карла Реннера. Относительная стабильность позволяет Поланьи физически и морально восстановиться после перенесенной им в этот период тяжелой и длительной болезни. Среди венгерских беженцев в Австрии Поланьи встречает Илону Ducyznska, которая сыграла важную роль в возвращении его к жизни и которая в 1923 году становится его женой.

В этот период Карл Поланьи перечитывает Маркса, активно изучает работы таких экономистов, как Менгер, Визер, Бем-Баверк, Шумпетер, Кларк и других. В 1922 он вызывает Людвига фон Мизеса, тогда профессора экономики Венского университета, на дебаты о возможности существования социалистической экономики. Дискуссия состоялась на страницах популярных австрийских журналов, и в ней приняли участие не только Поланьи и Мизес, но и другие экономисты. Наиболее полно представления Карла Поланьи о социализме изложены в написанной в тот период и так и оставшейся неопубликованной работе Behemoth. Концепция Поланьи, несомненно, демонстрирует его приверженность идеям социализма, но не государственного, а корпоративного. Он предлагал разделить все материальные потребности на три группы благ: блага, необходимые для персонального потребления (еда, одежда, домашняя утварь, дома и др.), затем блага, необходимые для городского потребления (улицы, строения, автобусы, парки и т.д.), и третья группа – блага, необходимые для существования всего общества (самолеты, радиовещание, почта и др.). Первые две группы товаров должны были бы производиться локальными и региональными компаниями, и только третья группа товаров – крупными компаниями национального или интернационального уровня. Такое устройство экономики позволило бы, по мнению Поланьи, в индустриальном обществе вновь встроить экономику в общество, что способствовало бы укреплению связей между членами общества на основе кооперации и солидарности.

С 1924 по 1933 год Карл Поланьи был одним из редакторов Osterreichische Volkswirt и писал туда статьи по международным пробле-

мам. Он также печатал материалы по политическим и экономическим вопросам и в других изданиях.

В этот период, в конце 1920-х годов, представления Поланьи о том, что такое свобода, расширяются: духовная свобода, считает он, возможна только в том случае, если индивид свободен как от государства, так и от рыночной стихии. Излагая свое представление о социализме, Поланьи выступает с жесткой критикой как общества, основанного на системе саморегулирующихся рынков, так и общества, основанного на централизованной социалистической экономике советского образца. И ту и другую форму он рассматривает как варианты, неспособные обеспечить свободу обычному человеку. В первом случае человек жестко подчинен рынку, во втором — государству. Поланьи предлагает свой вариант корпоративного социализма, основой которого является транспарентность общества на всех уровнях, персональные и никем не опосредованные социальные отношения и максимальное привлечение обычных людей к организации и управлению обществом, которые несут персональную ответственность за реализацию своей свободы. Данная теория вобрала в себя идеи из самых разных источников, прежде всего это концепция Маркса об отчуждении труда, идеи уже упомянутых австромарксистов, а также концепции австрийского социального католицизма, которые утверждали надклассовые цели общественного развития, преодоления как марксизма, так и классического либерализма. Австрийские католики выступали за общество, основанное на сословно-корпоративном принципе и принципе субсидиарности, который подразумевал сохранение индивидуальной ответственности человека за свое будущее при его праве рассчитывать на поддержку общества. Последний тезис был особенно близок идеям Поланьи. При этом, будучи человеком реалистичным, Поланьи осознавал отсутствие возможности реализовать эти идеи на практике, но особенно он был разочарован, когда увидел, как идеи корпоративного социализма трансформируются в теоретическую основу для социально-экономического устройства фашистских режимов.

Стоит отметить, что еще в самом начале 1920-х годов, вскоре после Первой мировой войны и заключения мира, Поланьи говорил о том, что те испытания, которые выпали на долю народов Европы за последнее десятилетие, еще далеки от завершения. Поланьи очень высоко оценил работу Дж. М. Кейнса «Экономические последствия Версальского договора», так как увидел в ней подтверждение своим мыслям о мрачном будущем европейских стран. Фа-

шизм Поланьи рассматривал как самое большое зло текущей эпохи. В 1930 году он публикует статью «Сущность фашизма», где показывает, что рыночная экономика с ее дегуманизацией общества, разрушением традиционных ценностей, нестабильностью и страхом перед будущим является причиной, основой и источником фашизма, который он рассматривает как противоположность и социализму, и христианскому обществу. Именно в этой статье Поланьи показывает, почему саморегулирующийся рынок и свобода несовместимы. Он приводит следующие рассуждения: саморегулирующийся рынок, основанный на жесткой конкуренции, порождает анархию и нестабильность, социальную незащищенность и страх перед будущим, отсюда готовность общества заплатить любую цену за стабильность и безопасность. И этой ценой оказывается диктатура, часто в форме фашизма.

Начало Великой депрессии совпало в Австрии с приходом к власти лидера австрофашистов Э. Дольфуса. В начале 1930-х он ведет политику по ужесточению режима и в 1933 году объявляет о «самороспуске парламента», запрете публичных собраний и демонстраций, введении цензуры. Поланьи вновь был вынужден эмигрировать, на этот раз спасая себя и свою семью от фашистского террора. Они уезжают в Англию.

На протяжении 1930-х годов Поланьи видит, как фашизм усиливается и распространяется по Европе. При этом фашизм не затрагивает наиболее развитые страны — те, где общество успело создать институты, защищающие себя от рынка. Фашизм устанавливается в Венгрии, Болгарии, Испании, Италии, Португалии, Австрии, Германии, Румынии. Происходит нарастание праворадикальных тенденций в Литве при Ульманисе, Польше при Пилсудском, в Греции. Здесь перед ним встает вопрос: если источником фашизма является переход общества от традиционного, основанного на семейных, религиозных, корпоративных связях к рыночному, основанному на бездушном контракте, то почему развитие рыночных отношений не привело к фашизму Англию, Францию и Голландию? Ответ на этот вопрос он даст в 1944 году в работе «Великая трансформация».

С 1933 по 1947 год Поланьи живет в Англии. (Четвертый период его жизни.) В эти годы он активно изучает экономическую историю, особенно Англии, с 1937 года преподает в Королевском институте международных отношений и Лондонской ассоциации рабочего движения, позже — на заочных отделениях Оксфордского и Лондонского университетов, специализируясь по проблемам социально-экономической

истории. Поланьи активно принимает участие в большом количестве семинаров и конференций, организованных левым крылом Христианского движения. В 1935 году Поланьи совершил тур по Соединенным Штатам по приглашению Нью-Йоркского института международных отношений, где на него большое впечатление произвели результаты рузвельтовского Нового курса. Все это помогает ему глубже осмыслить те события, свидетелем которых он являлся. В этот период он достаточно критически оценивал свои достижения: «...в мой центральноевропейский менталитет вошли — очень рано — русские элементы и — не слишком поздно — англосаксонские... Не только Гете учил меня терпению, но и Достоевский, и Джон Стюарт Милль... Я перестал интересоваться марксизмом начиная с 22 лет. Я попал под серьезное религиозное влияние в возрасте 32 лет... С 1909 по 1935 год я ничего не делал. Я старался изо всех сил трудиться в том направлении, которое вело в никуда...»[1]

Столь критическое отношение к своей деятельности было связано прежде всего с тем, что К. Поланьи осознавал, что как политик он не состоялся, кроме того, он понимал слабость теории корпоративного социализма, которую он разрабатывал. Однако именно в этот период формируется его морально-этическая концепция, где человек стоит на первом плане. Эти идеи приводят К. Поланьи к необходимости поиска путей освобождения человека, к поиску «третьего пути». Именно желание найти варианты возможного развития человечества, отличные от капитализма и социализма советского образца, подводят его к необходимости изучения экономических дисциплин. И первым результатом этой работы была «Великая трансформация», опубликованная в 1944 году.

В этой работе К. Поланьи приходит к целому ряду парадоксальных с общепринятой точки зрения выводов. Главный из них состоит в том, что рыночная система, вопреки сложившемуся мнению, не является продуктом естественного развития, а *целенаправленно была создана государством.* В качестве доказательства он приводит следующие историко-экономические аргументы.

Рынки традиционного общества не были способны на спонтанное расширение. Поланьи выделяет два вида рынков доиндустриальной эпохи. Во-первых, локальные, где торговали предметами первой необходимости, цены на которые регламентировались, следовательно, эти рынки не были свободными и конкурентными. Во-вторых, рынки дальней торговли, где торговали предметами роскоши; эти

[1] The Legacy of Karl Polanyi. Quebec 1991. P. 265.

рынки, в отличие от первых, были конкурентными. Но ни локальные рынки, ни рынки дальней торговли не способны были превратиться в национальный внутренний рынок. Это расширение сдерживали социальные институты, которые выполняли охранительные функции – защищали существующий в данном обществе социально-экономический порядок. Если данные институты не справлялись, то есть рыночные отношения начинали распространяться на землю и труд, то общество погибало как социально-экономическая система (или его завоевывали, что было равнозначно гибели). Классический пример – система древнегреческого полиса, который пал жертвой не столько завоеваний Александра Македонского, сколько экономического подъема и расширения рыночных отношений.

Для того чтобы рынки дальней торговли и локальный трансформировались в национальный рынок, то есть конкурентный саморегулирующийся рынок самых различных благ, включая предметы первой необходимости, услуги и факторы производства, должны были быть выполнены три условия: коммерциализация общества, появление сложных машин и наличие сильной центральной власти, которая смогла бы создать рынки факторов производства, без которых было бы невозможно широко применять и обеспечить бесперебойное функционирование сложных и дорогих машин.

На примере Англии Поланьи показывает, как эти теоретические положения реализовывались на практике. И здесь он обращает наше внимание на длительность периода, в течение которого шел процесс коммерциализации и создания рыночной системы в Англии. Это подводит автора «Великой трансформации» к очень, на наш взгляд, важному выводу. Поланьи выводит следующую формулу, возможно, ее когда-нибудь назовут «теоремой Поланьи»: *оценить конечный результат изменений можно, только сопоставив темпы перемен с темпами адаптации к ним.* То есть в Англии к моменту, когда окончательно сложилась рыночная система, также существовали социальные и политические институты, позволяющие основной массе населения относительно безболезненно адаптироваться, встроиться в рыночную экономику и уже в рамках этой новой системы отстаивать свои права. Тем самым он дает ответ на вопрос, почему фашизм появился в одних странах и не появился в других.

Еще один достаточно необычный тезис, который отстаивает Поланьи, заключается в том, что, несмотря на то что процесс создания рыночной саморегулирующейся системы был достаточно долгим, сама эта система просуществовала всего 36 лет: с 1834 по 1870 год. К 1834 году в Англии *государством* были устранены практически

все ограничения, препятствующие свободному функционированию рынков факторов производства. А к 1870 году контрдвижение (термин Поланьи), которое развивалось в рамках процесса адаптации общества к рынку, уже привело к созданию новых институтов, ограничивающих саморегулирующуюся рыночную систему. Рынок труда был первым из рынков, где вновь вводилось регулирование. Здесь стоит обратить внимание, что Поланьи понимает под термином «саморегулирующаяся рыночная система». Это, с его точки зрения, система, которая предполагает наличие свободных саморегулирующихся рынков факторов производства, функционирующих без каких-либо ограничений: без профсоюзов, без системы социального страхования по старости, болезни, инвалидности, без системы охраны труда, без центральных банков с их денежно-кредитным регулированием, без каких-либо правил по охране окружающей среды, без ограничений на право купли-продажи земли и т.д. Система, соответствующая данному определению, существовала только в Англии и только в середине XIX века — и больше никогда и нигде.

Как только обществу удается создать институты, способные заменить институты традиционного общества, где экономика встроена в социальную систему общества, в части ограничения или контроля над рынками факторов производства, рыночная система начинает трансформироваться в такую социально-экономическую систему, где экономика вновь встраивается в социальную структуру. Главная цель этого процесса — уменьшение нестабильности и восстановление гарантий в виде системы социального обеспечения, которые обеспечивались ранее в традиционном обществе родственными, религиозными или политическими институтами. Таким образом, достигается освобождение общества от власти рынка. Здесь хотелось бы отметить, что вышеприведенные высказывания отнюдь не являются призывом устранить рыночные отношения. Они является призывом к обществу проявлять свою гражданскую ответственность в форме объединения в различные организации для контроля и ограничения рыночной системы, то есть создать контрдвижение для недопущения развития рыночной системы до своего логического конца и превращения абсолютно всех отношений в обществе в контрактные.

Главным условием успешной трансформации Поланьи называет увеличение прозрачности системы, что может быть обеспечено только контролем со стороны общества, контрдвижением, состоящего из достаточно грамотных, образованных и ответственных индивидов, то есть гражданского общества.

В 1947 году Карл Поланьи переезжает в Канаду. Это третья эмиграция в жизни Поланьи. Происходит это, когда Карлу Поланьи было уже 51 год, и впереди у него оставалась еще семнадцать лет напряженного и плодотворного труда. К этому времени уже сформировались основные теоретические положения его концепции. И далее он видит своей главной задачей максимально убедительно на историческом материале доказать эти теоретические положения, что приводит его к исследованиям социально-экономических систем доиндустриальных обществ. В процессе этих исследований в Колумбийском университете, где он тогда преподавал (живет он при этом в Канаде, так как американские власти по политическим причинам запретили его жене въезд в США), формируется школа Поланьи, или субстантивистская школа. На протяжении почти тридцати лет представители этой школы вели непрекращающиеся дебаты со сторонниками неолиберального направления по вопросам экономической жизни доиндустриальных обществ. Наиболее яркими сторонниками «школы Поланьи» можно назвать Дж. Дальтона и М. Саллинза.

Методологические основы своей концепции Поланьи излагает в статьях 1947 года «О вере в экономический детерминизм» и «Наше устаревшее рыночное мышление» (данная статья воспроизводит текст доклада, сделанного за год до этого на конгрессе, состоявшемся в Университете Ридинга), где он жестко критикует основные положения экономикс и намечает рамки альтернативного методологического подхода к исследованию экономических процессов. Он показывает, что традиционная теория мешает правильно понять современные экономические системы и что рыночное мышление — основное препятствие для реформирования не только капиталистических систем, но также экономических систем вне западного мира.

Этими статьями К. Поланьи вступил в уже шедшую в то время в американской печати дискуссию о применимости традиционной экономической теории к доиндустриальным обществам. Дискуссия велась между представителями экономикс (в частности, Ф. Найтом), которые считали возможным использование моделей экономикс в этих социально-экономических системах, и экономическими антропологами (например, Л. П. Мейром, М. Херсковицем), отрицавшими такую возможность. В процессе споров выявились два различных подхода к исследованию экономики: формалистский и субстантивистский. Значение этой дискуссии для Поланьи его дочь Кари, профессор экономики в Университете МакГилла, прокомментировала следующим образом: «Формалистско-субстантивистский спор, проводившийся

К. Поланьи и его коллегами, утвердил его научную репутацию в области экономической антропологии и обеспечил ему академическую основу в «институциональном» лагере общественных наук США»[2].

Впервые о формальном и субстантивистском подходах к изучению экономики писал К. Менгер в работе «Основы политической экономии» в последнем ее варианте, который был опубликован в 1929 году. Именно в этом издании впервые говорится о том, что существуют два понимания экономики — формальное и субстантивистское, то есть с точки зрения поведения рационального индивида, максимизирующего полезность в условиях дефицита ресурсов, и с точки зрения общества, целью экономической деятельности которого является обеспечение себя средствами существования. Поланьи воспринял это деление, но, в отличие от последователей Менгера, настаивал на субстантивистском подходе в экономических исследованиях. Таким образом, в 1940–1950 годах в области изучения некапиталистических экономических систем наряду с так называемым формалистским появляется и субстантивистский подход.

Представители формализма считали, что предметом экономической науки является исследование распределения ограниченных ресурсов рациональным человеком, максимизирующим свою выгоду. Субстантивисты утверждали, что не всегда и не везде существовал рациональный человек, следовательно, данное формалистами определение предмета экономической науки слишком узкое: оно ограничивается рамками капитализма свободной конкуренции. Поэтому представители субстантивизма предлагали более широкое определение, охватывающее все общественные системы: с их точки зрения, предметом экономической науки, то есть собственно экономикой, является процесс добывания средств существования.

Основным постулатом субстантивизма является рассмотрение экономики как «встроенного» института, который возможно анализировать лишь в контексте всей совокупности культурных традиций и общественных отношений данного общества. Определяющий характер экономика имеет, по их мнению, лишь при капитализме свободной конкуренции. В остальных же обществах она является определяемым и зависимым от норм, обычаев и других социальных отношений институтом.

Следовательно, с точки зрения субстантивистов существуют экономические законы, отличные от тех, которые работают в си-

[2] Kari Polanyi-Levitt. Toward Alternatives: re-reading the Great Transformation // Review of the Month. Vol. 47. № 2. 1995. P. 3.

стеме капитализма свободной конкуренции, то есть другие взаимосвязи и взаимозависимости между хозяйствующими субъектами и объектами хозяйствования. Таким образом, задачей экономистов-субстантивистов является выявление этих специфических закономерностей, а не попытки подогнать действительность некапиталистических (примитивных, архаических, а также посткапиталистических) обществ под систему законов, выявленных для капитализма свободной конкуренции.

Следующим важным этапом в создании новой парадигмы были такие статьи Поланьи, как «Экономика как институционально оформленный процесс» и «Место экономики в обществе», опубликованные в книге «Торговля и рынок в ранних империях» (1957), подготовленной совместно с американскими экономическими антропологами К. Аренсбергом и Г. Пирсоном. В данных работах были изложены основные тезисы, которые стали фундаментом для альтернативного подхода к анализу экономики различных обществ и на которые в дальнейших историко-экономических и экономико-антропологических исследованиях опирался Поланьи и его последователи.

Особенно это касается работ позднего Поланьи, в которых он в 1950–1960-е годы искал дополнительные аргументы в защиту своей теории об ограниченности рыночных механизмов в экономической истории человечества.

На конкретном историческом материале Поланьи пытается продемонстрировать истинность следующих утверждений: рыночные институты не развиваются сами по себе, естественным путем, а являются продуктом целенаправленной деятельности власти (государства или местной администрации); наличие сильной зависимости экономических институтов от социальных и политических; существование в истории трех форм интеграции общества – взаимность (реципрокность)[3], перераспределение (редистрибуция)[4] и рыночный обмен.

[3] Под реципрокностью (взаимностью) К. Поланьи понимает взаимный обмен дарами, вытекающий из обязательств, существующих между родственниками и друзьями.

[4] Под редистрибуцией (перераспределением) американский экономист понимает переход части продукции, произведенной в обществе, в распоряжение центра (главаря, вождя, деспота и т.д.), с последующим ее распределением либо среди нуждающихся членов общества, либо среди элиты, с использованием ее для различного рода общественных нужд и т.п.

Среди положений, которые Поланьи отстаивает в своих работах, одним из наиболее важных является подчеркивание им различий между торговлей и рынком. По его мнению, первое понятие шире второго. Рынок — это механизм «невидимой руки», при котором решающую роль играет конкуренция, а цены отражают соотношение спроса и предложения. Торговля как обмен разнородными благами может быть организована не только на рыночных, но и на совсем иных принципах: либо взаимности, либо перераспределения. В частности, анализируя конкретно-историческую информацию о развитии торговли в доиндустриальных обществах, Поланьи стремился доказать, что в странах Востока она обычно находилась под административным регулированием государственных структур. С точки зрения Поланьи, когда правительственные чиновники не просто обеспечивают защиту контрактов, но регулируют цены, ассортимент и круг участников торговых операций, категорически нельзя говорить о рынке в собственном смысле этого слова. Одна из последних работ Поланьи была посвящена торговле в предколониальной Западной Африке, которая, по его мнению, как раз базировалась на нерыночных принципах.

В тот период, когда Карл Поланьи обратил внимание на качественное отличие торговли в традиционных обществах от современной торговли, компаративистское изучение рынков только начиналось. В современной литературе можно встретить оценку того времени как «каменного века исследований рынков»[5]. Некоторые исследователи склонны полагать, что Карл Поланьи серьезно заблуждался, недооценивая развитие рыночно-конкурентных отношений в докапиталистических обществах: «Поланьи плохо представлял себе, как была организована экономика Западной Африки в доколониальный период, и его основная идея — что свободный, ничем не контролируемый обмен на рынках свойственен только промышленным странам XIX и XX столетий — казалась абсурдной применительно к региону, где рядовые крестьяне привыкли покупать на рынках рабов за деньги не только в XIX веке, но и в значительно более ранние времена» [6].

Критики Поланьи в качестве доказательства наличия рыночных отношений в традиционном обществе указывают на большое коли-

[5] Хилл П. Рынки как места торговли // Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгрейта, П. Ньюмена (New Palgrave). М.: ИНФРА-М, 2004. С. 522.

[6] Там же. С. 519.

чество рыночных трансакций. Дело, однако, в том, что для Поланьи важно было не их количество, а степень зависимости жизни людей, их быта, их отношений между собой, их морально-этических и религиозных ценностей от рыночных институтов. Кроме того, административно регулируемая нерыночная торговля все же, видимо, была достаточно типичным институтом добуржуазных обществ, хотя и не настолько универсальным, как полагал Карл Поланьи. Нельзя не заметить, что предложенная им концепция трех форм интеграции общества может быть очень продуктивной при исследовании некоторых современных форм торговли – прежде всего, в сфере теневой экономики.

Последней работой, которая, к сожалению, осталась незаконченной, была «Свобода в сложном (комплексном) обществе», где Поланьи с высоты прожитого хотел вернуться к вопросам, которые волновали его в начале творческого пути. Он не прекращал работать до самого последнего дня. Им был основан журнал «Сосуществование», но выхода в свет его первого номера Карл Поланьи увидеть не успел.

Сегодня, в начале XXI века, в период очередного экономического кризиса, когда большинство политиков и экономистов приходят к выводу о необходимости ужесточения контроля финансовых рынков, идеи Карла Поланьи вновь звучат свежо и актуально.

О ВЕРЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ[1]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ФАЗЫ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Историку не составляет никакого труда безошибочно определить станцию, на которую мы прибыли. Путешествие называется «Индустриальная цивилизация». Первая стадия нашего путешествия уже позади, и мы находимся на второй. Машинный век, или индустриальная цивилизация, начавшийся где-то в XVIII веке, все еще далек от своего завершения. Первая стадия этого периода имела много различных названий, таких как либеральный капитализм или рыночная экономика; название следующей фазы мы еще не можем точно определить. Самое главное — провести различие между *технологическим* аспектом, общим для машинного века, или индустриальной цивилизации в целом, и социологическим аспектом, отделяющим фазу, которая уже позади, от фазы, которая еще должна наступить.

Современные условия, в которых находится человек, можно описать очень простыми терминами. Индустриальная революция всего лишь 150 лет назад положила начало цивилизации технологического типа. Человечество может не завершить путешествия; машины способны уничтожить человека; никто не может до конца оценить, совместимы ли человек и машина в долговременной перспективе. Однако, поскольку индустриальная цивилизация не может исчезнуть и добровольно не исчезнет, задача ее адаптации к требованиям человеческого существования *должна* быть решена, иначе человечество исчезнет с лица Земли.

Таков взгляд на проблему с высоты птичьего полета, если формулировать ее в терминах здравого смысла. Первая фаза новой циви-

[1] Karl Polanyi, "On Belief in Economic Determinism", *Sociological Review*, 1947, vol. 39, p. 96–102. Перевод публикуется по: «Великая трансформация» Карла Поланьи. Прошлое, настоящее, будущее / Под общей ред. Р. М. Нуреева. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2006. С. 28–37.

лизации уже позади. Она включала своеобразную социальную организацию, получившую название от своего главного института — рынка. Сегодня эта рыночная экономика исчезает в большей части стран мира. Но взгляд на человека и общество, являющийся ее наследством, остается и мешает нашим попыткам встроить машины в ткань стабильного человеческого существования.

Индустриальная цивилизация перемешала части бытия человека. Машины вторглись в интимное равновесие, которое было достигнуто между человеком, природой и работой. Независимо от того, были ли наши дальние предки существами, прыгавшими по деревьям или скакавшими в кустарниках, бесспорным является факт, что существование еще нескольких предыдущих поколений назад не было физически отделено от природы. Хотя проклятие Адама делало труд иногда очень утомительным, оно не угрожало свести наше время бодрствования к бессмысленным рывкам рядом с конвейерной лентой. Даже война при всех ее ужасах способствовала дальнейшему развитию продолжающейся жизни, а не была смертельной западней. Трудно сказать, можно ли такую цивилизацию успешно приспособить к изначально присущим человеку потребностям или человек должен погибнуть, пытаясь осуществить это.

Однако, как мы видели, современные условия, в которых находится человек, являются продуктом не технологического, а социального порядка. Дело в том, что основная трудность преодоления проблем индустриальной цивилизации коренится в интеллектуальном и эмоциональном наследии рыночной экономики, этой фазы машинной цивилизации XIX века, стремительно исчезающей на большей части планеты. Ее ядовитое наследие — вера в экономический детерминизм.

Таким образом, наше положение является в высшей степени странным. В XIX веке на основе машинного производства возникла беспрецедентная форма социальной организации — рыночная экономика, которая оказалась не более чем эпизодом. Тем не менее опыт был столь болезненным, что наши современные понятия почти все без исключения связаны с этим периодом. По моему мнению, взгляды на человека и общество, порожденные XIX веком, были фантасмагорическими; они явились воплощением моральной травмы, столь же насильственной для умов и сердец, сколь сами машины оказались противоестественны природе. Эти взгляды были в целом основаны на вере, что человеческие побуждения могут классифицироваться как материальные и идеальные и что в по-

вседневной жизни действия человека преимущественно согласуются с первыми.

Такое утверждение было, конечно, истинным в отношении рыночной экономики. *Но только в отношении такой экономики.* Если термин «экономический» используется в качестве синонима выражению «касающийся производства», тогда мы должны согласиться с тем, что не существует человеческих мотивов, которые по своей сути не были бы экономическими. И что касается так называемых экономических мотивов, следует отметить, что экономические системы обычно базируются не на них.

Это, возможно, звучит парадоксально. Тем не менее противоположный взгляд, как уже было сказано, просто отражал специфические условия, существовавшие в XIX веке.

ИЛЛЮЗИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОТИВОВ

Теперь перейдем к обсуждению экономической науки. При этом я ограничусь тем, что схематично очерчу контуры экономической системы XIX века, называемой рыночной экономикой. При такой системе мы не можем существовать иначе, как покупая товары на рынке на те доходы, которые мы получаем, продавая другие товары на рынке. Названия того или иного вида дохода зависят от того, что предлагается для продажи: рабочая сила (ее цена — заработная плата); пользование землей (ее цена — рента); капитал (его цена — процентная ставка); товар (доход — прибыль, получаемая от продажи товаров, цена которых выше цен товаров, необходимых для их производства, в результате чего создается доход *предпринимателя*). Таким образом, продажи производят доходы и все доходы извлекаются из продаж. В конце концов созданные в процессе производства за год продукты потребления распределяются между членами сообщества через доходы, которые последние заработали. Эта система работает до тех пор, пока у каждого члена сообщества имеются веские мотивы для получения доходов. Такие мотивы, собственно, существуют в данной системе: голод или страх голода тех, кто продает свою рабочую силу, и прибыль тех, кто получает ее от владения капиталом или землей либо получает прибыль от продажи других товаров. Грубо говоря, первый мотив присущ представителям наемного труда, другой — предпринимателям. Поскольку оба мотива гарантируют производство материальных благ, мы традиционно называем их экономическими мотивами.

Остановимся и рассмотрим более внимательно данный вопрос. Есть ли что-то действительно экономическое в этих мотивах в том смысле, в котором мы говорим о религиозных или эстетических мотивах, основанных на религиозном или эстетическом опыте? Есть ли что-нибудь в страхе голода или, поскольку это важно, в выигрыше от рискованных спекуляций, которые могут иметь свою привлекательность, но опять-таки эта привлекательность по сути своей не является экономической? Другими словами, связь между этими чувствами и производственной деятельностью не имеет ничего такого, что было бы присуще этим чувствам как таковым, а зависит от социальной организации. При рыночной организации, как мы видели, такая связь существует и очень конкретно: голод и выигрыш связаны посредством рыночной организации с производством. Это и объясняет то, почему мы называем эти мотивы экономическими. Но как насчет других социальных организаций, помимо рыночной экономики? Найдем ли мы там голод и выигрыш связанными с производственной деятельностью, без которой общество не может существовать? Ответ определенно будет «нет». Мы находим, как правило, что организация производства в обществе такова, что мотивы голода и выигрыша не привлекаются: действительно, там, где мотив голода связан с производственной деятельностью, мы обнаруживаем, что он соединен с другими сильными мотивами. Такое слияние мотивов представляет собой то, что мы имеем в виду, когда говорим о *социальных* мотивах, о тех побуждениях, которые заставляют нас вести себя в пределах общественных норм. В истории человеческой цивилизации невозможно найти человека, действия которого направлены были бы на обеспечение индивидуального интереса в получении материальных благ, а скорее всего столкнемся с тем, что его действия направлены на обеспечение его социального положения, его социальных притязаний, его социальных активов. Он ценит материальные блага преимущественно как средства для достижения этой цели. Экономика человека, как правило, отражает его социальные взаимоотношения. Кто-то из читателей, должно быть, недоумевает, из каких фактов я исхожу, делая такие утверждения.

Во-первых, в области первобытных экономик фундаментальное значение имеют результаты антропологических исследований. В связи с этим хотелось бы назвать два выдающихся имени — Бронислава Малиновского и Ричарда Турнвальда. Совместно с другими учеными они сделали фундаментальные открытия в исследовании производственной или экономической системы в обществе. Миф

об индивидуалистической психологии первобытного человека взлетел на воздух. Ни грубый эгоизм, ни склонность к бартеру или обмену, ни тенденция добывать главным образом *для* себя — ничего этого не обнаружилось. Равным образом дискредитированным оказался и миф о коммунистической психологии «дикаря», о его предполагаемой малой способности понимать и ценить свой личный интерес и т.п. Истина состоит в том, что человек практически не изменился в ходе истории. Рассматривая институты не отдельно, а во взаимосвязи, мы обнаруживаем, что поведение человека вполне нам понятно. Тем не менее в основном производственная или экономическая система организована так, что участие в производстве ни для кого не является следствием боязни голода (или страха голода). Независимо от того, участвует человек или нет в производственных процессах сообщества, он всегда имеет свою долю в общих ресурсах пищи. Вот несколько примеров. При земельной системе крааль (kraal-land system) в племени каффирс «невозможно быть нищим: любой нуждающийся в помощи получает ее безоговорочно» [Mair L. P. 1934]. Член племени квакиутль также «никогда не подвергается риску остаться голодным» [Loeb E. M. 1936]. «В обществах, находящихся на грани выживания, никто не голодает» [Herskevits H. J. 1940]. Как правило, индивиду в первобытном обществе не угрожает голодная смерть, кроме тех случаев, когда сообщество в целом оказывается в трудном положении. Именно отсутствие угрозы индивидуального голода делает первобытное общество в каком-то смысле более гуманным по сравнению с обществом XIX века и в то же время менее экономическим. Это касается и стремления к личному выигрышу. Еще несколько цитат. «Характерной чертой первобытной экономики является отсутствие стремления получить прибыль в процессе производства и обмена» [Thurnwald R. 1932]. «Выгода, которая часто является стимулом труда в цивилизованных сообществах, никогда не выступает в качестве его мотива в условиях первобытного хозяйства» [Malinowski B. 1930]. «Нигде в избежавшем внешних влияний первобытном обществе мы не обнаруживаем труд, ассоциирующийся с идеей платы» [Lowie. ESSc., Vol. XIV].

Во-вторых, есть непрерывная преемственность между примитивным обществом и цивилизованными типами общества. Будь то античное деспотическое общество, феодальное общество, город-государство, средневековое городское общество, меркантилистское общество или регуляционная система, существовавшая в XVIII веке в Западной Европе, везде в социальной системе существует эко-

номическая система. Подпадают ли действительные мотивы под рубрику гражданского обычая или традиции, долга или преданности, соблюдения религиозных заповедей, политической верности, юридических обязанностей или административного регулирования, исходящих от государства, муниципалитета или гильдии, — не имеет большого значения. Не голод, не выигрыш, а гордость и престиж, ранг и статус, публичная похвала и личная репутация обеспечивали стимулы для индивидуального участия в производстве. Страх материальных лишений, побуждения выигрыша или прибыли не всегда при этом отсутствовали. Рынки были широко распространены при всех типах человеческой цивилизации, и профессия купца вполне универсальна. Однако рынки — это места торговли, и купцы по своей природе должны были действовать в соответствии с мотивом выигрыша. Но рынки были изолированными островками, не связанными с экономикой. Никогда, вплоть до XIX века, рынки не доминировали в обществе.

В-третьих, трансформация произошла очень стремительно. В данном случае имеет значение не степень изменения, а его тип. Возникла цепная реакция, и безвредный институт рынка раздался социологическим взрывом. Сделав труд и землю товарами, рынок подчинил человека и природу ценовому механизму спроса и предложения. Это означало подчинение всего общества институту рынка. Если раньше экономическая система была укоренена в социальных отношениях, то теперь социальные отношения оказались укоренены в экономической системе. Если раньше уровень доходов определялся занимаемой должностью и положением в обществе, то теперь они определяются доходами. Отношение статуса и контракта поменялись местами — теперь последний везде занял место первого. Говорить просто о влиянии, оказываемом экономическим фактором на социальную стратификацию, значило бы просто ничего не сказать. Стороны треугольника, вообще говоря, не влияют на углы — они их определяют. Функционирование капиталистического общества не просто находилось под влиянием рыночного механизма — оно определялось им. Социальные классы теперь идентифицируются с предложением и спросом на рынке труда, земли, капитала и т.п. Более того, поскольку ни одно человеческое сообщество не может существовать без функционирования производительного аппарата, все институты общества должны соответствовать требованиям этого аппарата. Женитьба и воспитание детей, организация науки и образования, религия и искусство, выбор профессии, формы общежития, типы поселений — все вплоть до эсте-

тики повседневной жизни должно формироваться в соответствии с потребностями системы. Перед нами экономическое общество! Здесь вполне справедливо сказать, что общество определяется экономикой. Самое главное — наш взгляд на человека и общество принудительно приспособлен к этому наиболее искусственному из всех социальных образований. За невероятно короткое время представления о фантасмагорических способностях человека стали широко распространенными и обрели статус аксиомы. Позвольте объяснить.

Ежедневная деятельность человека по своей природе в большой степени направлена на производство материальных благ. Поскольку, в принципе, исключительным мотивом всех этих видов деятельности теперь стал либо страх голода, либо получение прибыли, эти мотивы, ныне описываемые как экономические, были отделены от всех других мотивов и в повседневной жизни стали вполне нормальным явлением для человека. Другие же, такие как честь, гордость, солидарность, гражданские обязанности, моральный долг или просто ответственность за общие судьбы, стали считаться мотивами, не имеющими отношения к повседневной жизни, а чем-то довольно редким и эзотерическим по своей природе, роковым образом подытоженным в слове «идеальный». Человеку присущи, с одной стороны, чувства голода и выгоды, а с другой — жалости, долга и чести. Человек, обладающий первыми, считался материалистическим, а последними — идеальным. Производственная деятельность раз и навсегда стала связываться с материальными стимулами. Человек сильно зависит от средств существования, это приравнивалось к материалистической морали. Все попытки скорректировать данные взгляды на практике были обречены на провал, поскольку они принимали форму защиты равно нереалистичной идеалистической морали. В этом — источник рокового разрыва материального и идеального, ставшего камнем преткновения в нашей практической антропологии: человек не имел смешанных мотивов, при которых он мог оставаться самим собой, а был гипостазирован, разделен на материальное и идеальное. Дуализм плоти и духа апостола Павла был просто утверждением теологической антропологии. Он очень мало общего имел с материализмом. При рыночной экономике человеческое общество само оказалось организовано по дуалистическому принципу: повседневная жизнь была отдана материальному, а воскресенье — идеальному.

Теперь, если бы это определение человека было верным, то любое человеческое общество должно было бы иметь отдельную эко-

номическую систему, базирующуюся на экономических мотивах, как это было в XIX веке. Именно поэтому рыночный взгляд на человека — это также и рыночный взгляд на общество. На самом деле характерным для человеческих обществ является как раз отсутствие таких отдельных и определенных экономических институтов. Именно это имеется в виду, когда говорят, что экономическая система укоренена в социальных отношениях.

Тем самым современная вера в экономический детерминизм находит свое объяснение. Там, где есть отделенная экономическая система, требования этой системы определяют все другие институты в обществе.

Альтернатив этому не существует, поскольку этого не позволяет зависимость человека от материальных благ. То, что экономическая детерминация была характерной чертой XIX века, связано именно с тем, что в этом обществе экономическая система была отделена и отлична от остальной части общества, базируясь на отдельном наборе мотивов (голод и выигрыш).

Подведем некоторые итоги. Задача приспособления организации жизни к реально существующей индустриальной цивилизации по-прежнему стоит перед нами. Наше отношение к людям и природе должно быть пересмотрено. Атомная бомба сделала эту проблему более настоятельной.

Цивилизация, которую нам хотелось бы видеть, — это индустриальная цивилизация, в которой удовлетворены основные требования человеческой жизни. Рыночная организация общества потерпела неудачу. Развиваются какие-то другие формы организации. Задача огромной сложности — интегрировать общество по-новому. Это проблема новой цивилизации. Но этому не должен препятствовать фантом экономического детерминизма. Нас не должно вводить в заблуждение представление о природе человека, бедное и нереалистичное (дуалистическая ошибка), согласно которому побуждения, служащие основой для организации производства, вызваны мотивами одного вида, а побуждения, лежащие в основе коллективных усилий, направленные на воспитание законопослушных граждан и должные обеспечивать высокие политические достижения, проистекают из мотивов другого вида. Не думайте, что экономическая система обязана ограничивать наши стремления к достижению идеалов в обществе. Ни одно общество, кроме того, которое укоренено в рынке, не детерминируется экономической системой.

Рассмотрим проблему свободы. Свободы, которые мы больше всего лелеем, — гражданские свободы (свобода слова, печати

и т.п.) — были побочным продуктом капитализма. Должны ли они исчезнуть вместе с капитализмом? Вовсе нет. Думать так — значит просто поддаваться иллюзии экономического детерминизма, который *имеет силу только в рыночном обществе.* Хайековский страх рабства — это лишь нелогичное приложение экономического детерминизма к нерыночной экономике. Мы можем иметь больше гражданских свобод, и, безусловно, мы можем расширить гражданские свободы в индустриальной сфере. Мистер Барнхэм тоже проповедовал нечто грандиозное, как казалось в соответствии с положениями марксизма, по поводу того, какому классу должна принадлежать власть и пр., — все в соответствии с положениями экономического детерминизма. Тем не менее он подразумевает конец рыночной экономики, единственно по отношению к которой такой детерминизм применим. *Lasciate ogni speranza*[2] экономического детерминизма уже позади. Вместе со свободой от порабощения рынком человек также завоевал и более важную свободу: его воображение опять свободно создавать и формировать общество. А кроме того, человек приобрел уверенность в том, что он может иметь всю полноту свободы, для которой он готов планировать, организовывать и охранять.

Литература

Herskovits H. J. The Economic Life of Primitive People. 1940.
Loeb E. M. The Distribution and Function of Money in Early Society. 1936.
Lowie. Social Organisation. ESSc., Vol. XIV.
Mair L. P. An African People in the Twentieth Century. 1934.
Malinowski B. Argonauts of the Pacific. 1930.
Thurnwaid R. Economic In Primitive Communities. 1932.

[2] Lasciate ogni speranza, voi ch'entrante — «Оставь надежду всяк сюда входящий» (надпись над входом в ад в «Божественной комедии» Данте).

НАША УСТАРЕВШАЯ РЫНОЧНАЯ ПСИХОЛОГИЯ[1]

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДОЛЖНА ОБРЕСТИ НОВЫЙ ОБРАЗ МЫСЛИ

Первое столетие Эпохи машин близится к концу в обстановке страха и трепетания. Своим баснословным материальным благосостоянием оно обязано добровольному и, более того, восторженному подчинению человека потребностям машины.

В самом деле, либеральный капитализм был первой реакцией человечества на вызовы промышленной революции. Чтобы устранить преграды развитию сложной и могучей техники, мы превратили нашу экономику в саморегулирующийся конгломерат рынков и построили свои представления и систему ценностей на принципах этой небывалой инновации.

Сегодня мы уже не столь уверены в правильности всех этих представлений и в значимости всех этих ценностей. Вряд ли можно утверждать, что либеральный капитализм все еще существует где-либо за пределами Соединенных Штатов. Перед нами снова встает вопрос, как организовать жизнь в обществе машин. За поблекшим фасадом рыночного капитализма кроется призрак индустриальной

[1] Karl Polanyi, "Obsolete Market Mentality", *Commentary*, February 1947 no. 3, p. 109–117. Публикация статьи сопровождалась врезкой от редакции: «Карл Поланьи полагает, что эта статья стала его первым значительным шагом вперед после книги «Великая трансформация» (1944), которая привлекла всеобщее внимание оригинальной постановкой вопроса о влиянии капиталистического предпринимательства на западное общество. Д-р Поланьи родился в Вене в 1886 году. С 1924 по 1934 год был сотрудником влиятельного финансового журнала *Oesterreichische Volkswirt*. После установления режима клерикальной диктатуры он эмигрировал в Англию, где читал лекции в Оксфордском и Лондонском университетах, участвовал в издании журнала *Christianity and Social Revolution* и написал «Сущность фашизма». С 1940 по 1943 год он преподавал в колледже Беннингтон, а в ближайшее время приедет в США для чтения лекций в Колумбийском университете.» Перевод М. А. Юсима.

цивилизации с ее калечащим разделением труда, стандартизацией жизни, преобладанием механизма над организмом и организации над самодеятельностью. Даже наука подвержена приступам помешательства. Это неизбывная угроза.

Простой возврат к идеалам прошлого столетия не поможет нам. Мы должны принять вызов будущего, хотя не исключено, что для этого потребуется потеснить промышленность с занимаемого ею места, чтобы интегрировать в общество чуждую ему машину. Чаяние индустриальной демократии не просто ведет к поискам решения проблем капитализма, как многие думают. Это поиски ответа на вопрос, что делать с индустрией как таковой. Вот в чем заключается подлинная проблема нашей цивилизации.

Этот новый поворот требует внутренней свободы, которой мы, к сожалению, не обладаем. Мы подвержены оглупляющему влиянию рыночной экономики, которая внушает нам до предела упрощенные взгляды на роль и функции экономической системы в обществе. Чтобы преодолеть кризис, нам нужно усвоить более реалистическое представление об окружающем нас мире и сформировать свои цели в свете этого знания.

Индустриализм — всего лишь скороспелый побег на вековом древе истории человечества. Исход эксперимента пока не предрешен. Но человек — сложно организованное существо и подвергается многим смертельным опасностям. Вопрос о личной свободе, столь волновавший наше поколение, затрагивает лишь одну сторону этой животрепещущей проблемы. На деле это лишь часть гораздо более глубокой и фундаментальной потребности — потребности в новом ответе на тотальный вызов машины.

ГЛАВНАЯ ЕРЕСЬ

Наше положение можно описать следующим образом.

Индустриальная цивилизация все еще угрожает существованию человека. Но так как рискованная затея по созданию и расширению искусственной среды не может и, по сути дела, не должна быть просто сброшена со счетов, то нам придется согласовать жизнь *в этой среде* с требованиями человеческого существования, если мы не хотим, чтобы человеческий род пресекся. Никто не знает, осуществимо ли такое согласование и выживут ли люди в ходе подобных экспериментов. Вот почему мрачные настроения преобладают.

Между тем первый этап Эпохи машин завершился. Организация общества в этот период получила свое название от его главного ин-

ститута — рынка. Система находится в стадии деградации. Однако наша практическая философия подверглась радикальному преобразованию в ходе этого впечатляющего спектакля. Распространились и стали непререкаемыми истинами новые суждения об обществе и человеке. Вот эти аксиомы.

Применительно к *человеку* нам внушили еретическое мнение, что его побуждения бывают материальными и идеальными и что в повседневной жизни он руководствуется мотивами, вытекающими из материальных побуждений. Такие воззрения поощряются как утилитарным либерализмом, так и популярным марксизмом.

Применительно к обществу предлагается схожая доктрина о том, что учреждения детерминированы экономической системой. Это мнение среди марксистов еще больше в ходу, чем среди либералов.

В условиях рыночной экономики оба утверждения, несомненно, верны. Но только *в условиях рыночной экономики.* По отношению к прошлому такое воззрение является не более чем анахронизмом. По отношению к будущему это чистое предубеждение. Но под влиянием современных философских школ, подкрепленным авторитетом науки и религии, политики и бизнеса, эти неизбежно преходящие явления стали рассматриваться как вневременные, выходящие за рамки рыночной эпохи.

Для преодоления этих предрассудков, которые ограничивают способности нашего ума и души и очень усложняют поиск выхода из угрожающей ситуации, может потребоваться настоящий переворот в нашем сознании.

РЫНОЧНЫЙ ШОК

На заре laissez faire (свободного рынка) самосознанию цивилизованного человека был нанесен удар, от которого оно так и не оправилось. Лишь постепенно мы стали постигать, что произошло с нами всего сто лет назад.

Либеральная экономика — первая реакция человека на пришествие машин — привела к резкому разрыву с прошлым. Началась цепная реакция: разрозненные ранее рынки стали объединяться в саморегулирующуюся рыночную систему. Вместе с новой экономикой на свет появилось новое общество.

Решающий шаг заключался в следующем: земля и труд превратились в товар, то есть начали восприниматься как предметы, созданные для продажи. На самом деле они не являются товарами в соб-

ственном смысле слова, поскольку земля вообще не есть продукт производства, а труд не предназначен для продажи.

Трудно представить себе столь же удачную выдумку. Свободная купля-продажа труда и земли привела к выработке соответствующего рыночного механизма. Появилось предложение рабочих рук и спрос на них; появилось предложение земельных участков и спрос на них. Естественно, выработались рыночные цены на использование рабочей силы, получившие название заработной платы, и рыночные цены за пользование землей, получившие название ренты. Земля и труд обзавелись собственными рынками, такими же как у товаров, производимых с их помощью.

Подлинное значение этого события можно оценить, только поняв, что труд — это синоним человека, а земля — синоним природы. Изобретение товаров поставило судьбы человека и природы в зависимость от автоматического процесса, который катится по своим рельсам и подчинен собственным законам.

Ничего подобного раньше не было. При меркантилизме действовали еще другие принципы, хотя рынки тогда насаждались насильно. Но землю и труд не доверяли им, земля и труд были составной частью общественного организма. Там, где существовала продажа земли, продавец и покупатель, как правило, только договаривались о цене; там, где заключались трудовые договоры, размер заработной платы обычно устанавливался властями. Земельные отношения регулировались обычаями манора, монастыря или городской коммуны и подлежали ограничениям, налагавшимся неписаными законами на владение недвижимостью. Трудовые отношения регулировались законами против попрошаек и бродяг, рабочими и ремесленными уставами, законами о бедных, цеховыми и коммунальными постановлениями. Фактически во всех известным историкам и антропологам обществах на рынках обращались только товары в собственном смысле слова.

Таким образом, рыночная экономика создала общество нового типа. Хозяйственная или производственная система попала в зависимость от самодвижущегося механизма, который управлял повседневной жизнью людей и природными ресурсами.

Этот аппарат материального благополучия приводился в движение всего двумя мотивами: голодом и выгодой, а точнее, страхом оказаться без средств к существованию и стремлением получить прибыль. Поскольку неимущие могут удовлетворить потребность в пище только путем продажи своего труда на рынке и поскольку имущие всегда стремятся купить подешевле и продать подороже, чудесная мельница производит все больше и больше товаров на благо

человеческого рода. Работу доходного предприятия обеспечивают страх голодной смерти у работника и жажда наживы у нанимателя.

Так появилась на свет экономическая сфера, четко отграниченная от остальных общественных институтов. Так как ни одно человеческое сообщество не может существовать без действующей производственной машины, ее обособление в рамках отдельной специальной сферы ставит все остальное в зависимость от нее. Сама эта особая зона регулируется механизмом, обеспечивающим ее функционирование. В результате рыночный механизм стал главной частью общественного организма. Неудивительно, что возникшее сообщество стало экономическим в невиданном ранее масштабе. Экономические стимулы стали безраздельно царить в подчинившемся им мире, а индивиды были вынуждены следовать им из страха оказаться раздавленными железной поступью рынка.

Такое вынужденное обращение в утилитарную веру роковым образом повлияло на самосознание западного человека.

ЦАРСТВО ГОЛОДА И ВЫГОДЫ

Новый мир экономических стимулов основан на заблуждении. Сами по себе голод и выгода являются не более экономическими мотивами, чем любовь и ненависть или гордость и предубеждение. Ни один человеческий стимул не является *per se* экономическим. Не существует особого экономического переживания в том смысле, в котором можно говорить о религиозном, эстетическом или сексуальном переживании человека. Перечисленные чувства обычно вызывают желание снова пережить их. Применительно к материальному производству такое утверждение неочевидно.

Экономический фактор, лежащий в основе социальной жизни, столь же мало способен порождать определенные стимулы, как и равно всеобщий закон тяготения. Безусловно, если не есть, можно погибнуть, точно так же как нас может погубить упавшая скала. Но муки голода не превращаются автоматически в производственный стимул. Производство – это не индивидуальная, а коллективная забота. Если индивид голоден, у него есть разные выходы. От отчаяния он может пойти на кражу или разбой, но такие поступки никто не назовет продуктивными. Человек как политическое животное зависит не от природных, а от социальных законов. Идея XIX века о том, что голод и выгода суть экономические стимулы, возникла непосредственно из потребностей организации производства при рыночной экономике.

Голод и выгода привязаны здесь к производству через необходимость получения дохода. Ибо в подобной системе человек, если он хочет выжить, должен покупать товары на рынке в счет доходов от продажи других товаров на рынке. Название этих доходов — заработная плата, рента, проценты — меняется в зависимости от того, что выставляется на продажу: рабочая сила, земля или деньги. Доход, именуемый прибылью, — вознаграждение предпринимателя — обеспечивается продажей товаров по более высокой цене, чем стоимость товаров, использованных для их производства. Таким образом, все доходы вытекают из продаж, а все продажи прямо или косвенно содействуют производству. Производство фактически является *побочным результатом с точки получения дохода.* Поскольку индивид получает доход, постольку он автоматически содействует производству.

Очевидно, что система работает лишь потому, что для индивидов имеет смысл заниматься зарабатыванием доходов. Чувство голода и жажда наживы обеспечивают такой смысл вместе и по отдельности. Эти два побуждения связываются таким образом с производством. Соответственно, они получили название экономических. По всей видимости, голод и жажда наживы являются теми стимулами, на которых должна покоиться всякая экономическая система.

Однако это положение безосновательно. Обозревая виды человеческих сообществ, мы видим, что голод и выгода не всегда побуждают к производству, а если и побуждают, то в сочетании с другими мощными стимулами.

Аристотель был прав: человек не экономическое, а общественное животное. Он стремится не столько обеспечить свои личные интересы путем материальных приобретений, сколько достичь социального благосостояния, общественного положения, авторитета. Имущество служит ему средством для достижения этих целей. Его побуждения носят смешанный характер и связаны с желанием обрести общественное одобрение — производственная деятельность находится на втором плане. *Экономика, как правило, вплетена в социальные отношения.* Переход к обществу, встроенному в экономическую систему, был радикальным новшеством.

ФАКТЫ

Я полагаю, теперь следует обратиться к фактам.

Во-первых, перед нами открылась первобытная экономика. Назовем два имени: Бронислав Малиновский и Ричард Турнвальд. Эти и другие исследователи перевернули наши представления в этой

области и положили начало новой научной дисциплине. Миф о дикаре-индивидуалисте был опровергнут давным-давно. Ни его животный эгоизм, ни мнимая склонность к меновой торговле, ни тенденция вести натуральное хозяйство не были доказаны. Но столь же несостоятельной оказалась легенда о коммунистической психологии дикаря, его пресловутом непонимании собственных интересов. (Грубо говоря, выяснилось, что люди всех эпох были более или менее одинаковыми. Если изучать общественные институты не изолированно, а в их связи, оказывается, что люди ведут себя в основном понятным для нас образом.) Разговор о коммунизме объясняется тем фактом, что организация производственной или экономической системы обычно не оставляла индивиду возможности умереть голодной смертью. Место у очага и кусок хлеба были ему обеспечены независимо от того, какую роль он играл во время охоты, в возделывании пашни, в уходе за скотом и за растениями.

Вот лишь некоторые примеры. При системе *крааль-лэнд* в племени каффирс «невозможно быть нищим: любой нуждающийся в помощи получает ее безоговорочно» [Mair L. P. *An African People in the Twentieth Century.* 1934]. Член племени квакиутль «никогда не подвергается риску остаться голодным» [Loeb E. M. *The Distribution and Function of Money in Early Society.* 1936]. «В обществах, находящихся на грани выживания, никто не голодает» [Herskovits M. J. *The Economic Life of Primitive Peoples.* 1940]. В самом деле, индивиду не угрожает голод до тех пор, пока все общество не оказывается в затруднительном положении. Это отсутствие опасности оказаться без средств к существованию для индивида делает первобытное общество в каком-то смысле более человечным, чем общество XIX века, и одновременно делает его менее экономическим.

То же самое относится к мотиву личной наживы. Еще несколько цитат. «Характерной чертой первобытной экономики является отсутствие стремления получить прибыль в процессе производства и обмена» [Thurnwald R. *Economics in Primitive Communities.* 1932]. «Выгода, которая часто является стимулом труда в цивилизованных сообществах, никогда не выступает в качестве его мотива в условиях первобытного хозяйства» [Malinowski B. *Argonauts of the Western Pacific.* 1930]. Если так называемые экономические стимулы являются для человека естественными, нам придется зачислить все ранние и первобытные общества в разряд неестественных.

Во-вторых, в этом отношении не существует разницы между первобытными и цивилизованными обществами. Обратимся ли мы к древнему городу-государству, деспотической империи, феодаль-

ному владению, городской коммуне XIII века, меркантилистскому режиму XVI века или централизованному государству XVIII века — повсюду мы увидим, что экономическая жизнь растворена в социальной. Источниками экономических стимулов являются обычай и традиция, общественный долг и частные обязательства, религиозный устав и политическая преданность, правовое принуждение и административные предписания, принятые правителем, муниципалитетом или цехом. Ранг и статус, требование закона и угроза наказания, общественное одобрение и личная репутация обеспечивают участие индивида в производственной деятельности.

Боязнь нужды или страсть к наживе также не стоит сбрасывать со счетов. Рынки встречаются в обществах любого типа, и фигура торговца известна представителям разных цивилизаций. Но отдельные рынки еще не составляют экономики. Стремление к наживе так же присуще купцу, как доблесть — рыцарю, благочестие — священнику, чувство собственного достоинства — ремесленнику. Мысль возвести жажду наживы в ранг всеобщего стимула никогда не приходила в голову нашим предкам. До последней четверти XIX века рынки не занимали в обществе господствующего положения.

В-третьих, перемена была слишком разительной. Господство рынка не устанавливалось постепенно, это был качественный скачок. Рынки, на которых самодостаточные домовладельцы избавлялись от излишков, никогда не задавали тон производству и не обеспечивали производителям их доходов. Только в рыночной экономике все поступления идут от продаж, а все предметы потребления нужно покупать. Свободный рынок труда зародился в Англии всего сто лет назад. Недоброй памяти Закон о бедности (1834) отменил скудное обеспечение, выдававшееся пауперам заботливым правительством. Приюты для бедняков превратились из убежища обездоленных в места позора и издевательства, куда не могли загнать даже голод и нищета. Бедным оставалось выбирать между трудом или голодной смертью. Так был создан полноценный национальный рынок рабочей силы. Десять лет спустя Закон о банках (1844) ввел принцип золотого стандарта; печатание денег перестало быть делом правительства, несмотря на влияние этого на уровень занятости. Одновременная реформа законов о земле поставила ее на службу экономике, а отмена Хлебных законов (1846) привела к созданию мирового зернового пула, так что незащищенные фермеры на континенте оказались в зависимости от прихотей рынка.

Так были заложены три принципа экономического либерализма, основа организации рыночной экономики: стоимость труда

должна определяться рынком; объем денежной массы должен регулироваться автоматически; товары должны перетекать из страны в страну свободно, невзирая на последствия. В краткой формулировке: рынок труда, золотой стандарт, свобода торговли. Был запущен процесс саморазвития, в результате которого прежние безобидные рынки превратились в социального монстра.

ИСТОКИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Приведенные факты примерно очерчивают генеалогию экономического общества. Мир человека должен представляться в нем подчиненным экономическим стимулам. Нетрудно понять почему.

Выберите какой угодно стимул и организуйте производство таким образом, чтобы этот стимул заставлял человека производить: вы получите представление о человеке, который полностью поглощен этими мотивами. Они могут быть религиозными, политическими или эстетическими; пусть это будет гордость, предвзятость, любовь или ненависть. Тогда люди будут погружены преимущественно в религию, политику, эстетику, гордыню, предрассудки, любовь или ненависть. Другие побуждения, напротив, окажутся второстепенными и расплывчатыми, поскольку они не будут связаны напрямую с жизненно важными потребностями производства. Избранный вами частный мотив будет представлять подлинного человека.

На самом деле, поскольку все взаимосвязано, люди работают по самым разным причинам. Монахи торговали из благочестия, и монастыри стали крупнейшими торговыми предприятиями в Европе. Самая сложная система бартерной организации в мире — кула у жителей островов Тробриан — пронизана эстетическими целями. Феодальная экономика основывалась на обычае, у народа квакиутль главной задачей производства было, по-видимому, удовлетворение требований кодекса чести. При деспотическом меркантилизме промышленность должна была обеспечивать власть и славу. Соответственно, мы должны считать, что монахи и вилланы, жители Западной Меланезии, индейцы квакиутль, государственные деятели XVII века руководствовались соображениями религии, эстетики, обычая, престижа или политики.

При капитализме каждый индивид должен зарабатывать. Если это рабочий, он должен продавать свой труд по существующей цене; если это собственник, он должен получать максимальную отдачу, поскольку его положение в обществе зависит от его доходов. Голод и выгода, хотя и косвенным образом, заставляют людей пахать

и сеять, прясть и ткать, добывать уголь и водить самолеты. Таким образом, члены подобного общества думают, что руководствуются двумя указанными мотивами.

В действительности люди никогда не были такими эгоистичными, какими их представляет теория. Хотя рыночный механизм поставил их в зависимость прежде всего от материальных благ, экономические мотивы никогда не составляли для них единственного стимула к труду. Напрасно экономисты и проповедники утилитаризма призывали людей руководствоваться в своем деле лишь материальными мотивами. При ближайшем рассмотрении у них всегда обнаруживались «запретные» наклонности: например, они испытывают чувство долга перед собой и другими, а, возможно, в глубине души — и удовольствие от работы самой по себе.

Как бы то ни было, нас интересуют в данном случае не действительные, а предполагаемые мотивы, не психология, а идеология бизнеса. *Представления о природе человека основаны не на первых, а на вторых.* Ведь если общество ожидает от ряда своих членов определенного поведения, а господствующие институты способны его навязывать, то представления о человеческой природе будут отражать этот идеал независимо от его отношения к реальности.

Таким образом, голод и выгода были названы экономическими стимулами, которыми люди руководствуются в своей повседневной деятельности, в то время как их прочие мотивы признаны эфемерными и далекими от реальной жизни. Честь и достоинство, гражданские обязанности и нравственный долг, даже самоуважение и правила приличия оказались несущественными с точки зрения производства и занесены в рубрику идеалов. В человеке стали выделять два компонента: один из них связан с голодом и выгодой, второй — с честью и властью. Один был назван материальным, другой — идеальным; один — экономическим, другой — неэкономическим; один — рациональным, другой — нерациональным. Утилитаристы стали даже приравнивать одни термины к другим, так что экономическая сторона человеческой натуры приобрела ореол рациональности. Тот, кто отказывался думать, что он действует только ради наживы, считался не только безнравственным, но и безумным.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ

Рыночный механизм, помимо всего прочего, создал иллюзию экономического детерминизма как всеобщего закона для всех времен и народов.

Для рыночной экономики этот закон, разумеется, справедлив. В самом деле, функционирование экономической системы в этом случае не только влияет на все общество, но и обусловливает его, к примеру, как стороны треугольника не просто влияют на углы, но и обусловливают их.

Возьмем социальную стратификацию. Спрос и предложение на рынке труда соотносятся с классами, соответственно, нанимателей и работников. Общественные классы капиталистов, землевладельцев, собственников недвижимости, брокеров, торговцев, лиц свободных профессий и т.д. зависят от рынков земли, финансов, капитала и производных, а также от рынков услуг. Доходы этих общественных классов определяются рынком, а их место и положение — доходами.

Давно заведенный порядок был полностью изменен. В знаменитой фразе Мэна «договор» сменил «статус», или в формулировке Тённиса «общество» заменило «общину», или в терминах настоящей статьи *не экономическая система встроена в социальные отношения, а эти отношения встраиваются теперь в экономическую систему.*

В отличие от общественных классов, прочие социальные институты зависят от рыночного механизма лишь косвенным образом. Государство и правительство, брак и воспитание детей, организация науки и образования, религия и искусство, выбор профессии, типы жилищ, структура населенных пунктов, вся эстетика обыденной жизни должны соответствовать принципам утилитарности и по крайней мере не мешать работе рыночных механизмов. Но так как всякая человеческая деятельность протекает не в вакууме и даже святому требуется его столп, рыночная система косвенным образом воздействует на все общество. Очень трудно избежать ошибочного умозаключения, что реальный человек — это «экономический» человек, а реальное общество — это экономическая система.

СЕКС И ГОЛОД

Однако правильнее было бы сказать, что все основные общественные институты основаны на смешанных мотивах. Обеспечение индивида и его семьи не исчерпывается стимулами насыщения, а институт брака — сексуальными мотивами.

Секс, как и голод, является одним из самых могучих побуждений, особенно если он не скован другими мотивами. Видимо, поэтому семья во всем разнообразии ее форм никогда не концентрируется на сексуальном инстинкте, подверженном колебаниям и ка-

призам, но отвечает целому ряду полезных требований, которые исключают разрушение сексом этого важного для человеческого благополучия института. Сам по себе секс не способен породить ничего лучше борделя, и то только с помощью некоторых стимулов рыночного механизма. Экономическая система, основанная преимущественно на утолении голода, будет столь же деформированной, как и институт семьи, исчерпывающийся удовлетворением полового инстинкта.

Попытка приложить экономический детерминизм ко всем видам обществ будет чистой утопией. Каждому исследователю социальной антропологии ясно, что великое множество институтов сочетается с использованием практически одних и тех же средств производства. Только когда рыночные условия позволили превратить общественную структуру в бесформенное желе, в человеческой способности создания институтов отпала надобность. Неудивительно, что появились признаки усталости социальной творческой фантазии. Придет день, когда люди не смогут вернуть себе ту гибкость, силу и богатство воображения, которыми были одарены их первобытные предки.

Я полагаю, мне бесполезно протестовать против навешивания на меня ярлыка идеалиста. Ведь тот, кто отрицает значимость материальных стимулов, должен, по-видимому, превозносить идеальные. Но нет более глубокого заблуждения. В голоде и наживе нет ничего собственно материального. Гордость, достоинство и власть, в свою очередь, вовсе не обязательно являются более возвышенными мотивами, чем голод и жажда наживы.

Само по себе это противопоставление, по нашему мнению, произвольно. Обратимся еще раз к аналогии с сексом. Безусловно, здесь можно провести разграничение между возвышенными и низменными побуждениями. Однако, идет ли речь о сексе или голоде, не следует *институционализировать* деление составных частей человеческого бытия на материальные и идеальные. Что касается секса, эта истина, столь значимая с точки зрения цельности человеческого бытия, давно является общепризнанной; на ней основан институт брака. Но с точки зрения не менее значимой экономической сферы она находится в пренебрежении. Эта сфера была обособлена от общества как царство голода и выгоды. Наша животная зависимость от еды была возведена в ранг главенствующей, и страх голодной смерти был спущен с цепи. Наша унизительная зависимость от материального, которую человеческая культура всегда стремилась смягчить, была намеренно усилена. Вот в чем истоки «болез-

ни общества приобретательства», о которой предостерегал Тоуни. Гениальный Роберт Оуэн был совершенно прав, когда за сто лет до этого называл погоню за прибылью «принципом, совершенно губительным для общественного и частного благосостояния».

РЕАЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Я выступаю за восстановление того единства побуждений, которыми люди будут руководствоваться в своей повседневной производственной деятельности, за реинтеграцию экономической системы в общество, за творческое преобразование нашего образа жизни в индустриальной среде.

Все приведенные соображения показывают, что философия laissez-faire, поднимающая на щит рыночную экономику, оказалась несостоятельной. На ее совести расчленение человеческой цельности на реального человека, привязанного к материальным ценностям, и его лучшее — идеальное Я. Она парализует наше социальное воображение более или менее осознанным потворством предрассудку экономического детерминизма.

Она сослужила свою службу на том этапе развития индустриальной цивилизации, который уже позади. Она обогатила общество ценой обкрадывания индивида. Сегодня перед нами стоит важнейшая задача вернуть личности полноту жизни, даже если общество станет технологически менее вооруженным. Классический либерализм дискредитировал себя в разных странах по-разному. Правые, левые и центр ищут новые пути. Британские социал-демократы, американские сторонники Нового курса, как и европейские фашисты и американские противники Нового курса разного «менеджеристического» толка, отвергают либеральную утопию. Наш сегодняшний политический настрой на отказ от всего русского не должен заслонять от нас достижения русских в творческом преобразовании некоторых фундаментальных характеристик промышленной среды.

Из общих соображений идея коммунистов об отмирании государства представляется мне сочетанием элементов либеральной утопии с практическим безразличием к институциональным свободам. Что касается отмирающего государства, нельзя отрицать, что индустриальное общество — это сложное общество, а ни одно сложное общество не может существовать без организованного властного центра. Но это не оправдывает коммунистического пренебрежения к вопросу о конкретных институциональных свободах.

Проблема личной свободы должна ставиться с учетом реальности. Человеческое общество, в котором отсутствуют власть и принуждение, невозможно, как невозможен мир без насилия. Либеральная философия направила наш идеализм в ложное русло, обещая воплотить подобные заведомо утопические надежды.

Однако при рыночной системе общество в целом остается незаметным. Каждый его член может считать, что он не несет ответственности за те акты принуждения со стороны государства, которые он лично не одобряет, а также за безработицу и нищету, от которых он лично не получает выгоды. Лично он непричастен к изъянам власти и экономической стоимости. С чистой совестью он может отрицать их реальное существование во имя своей воображаемой свободы.

Власть и экономическая стоимость являются парадигмами социальной реальности. Ни власть, ни экономическая стоимость не принадлежат к продуктам человеческого произвола; игнорировать их действие невозможно. Власть должна обеспечивать тот уровень единообразия, который необходим для выживания группы. Как показал Дэвид Юм, в конечном счете она основана на мнении. Но можно ли воздерживаться от тех или иных мнений? Экономическая стоимость в любом обществе гарантирует полезность производимых товаров; это печать, наложенная на разделение труда. Ее источник кроется в человеческих желаниях. Но можно ли не отдавать предпочтения тем или иным вещам? Всякое мнение и желание, независимо от типа общества, в котором мы живем, приобщает нас к осуществлению власти и к созданию стоимости. Освободиться от этого никак невозможно. Всякий идеал, изгоняющий власть и принуждение из общества, внутренне несостоятелен. Рыночный взгляд на общество, игнорирующий эту ограниченность реальных человеческих желаний, демонстрирует свою принципиальную незрелость.

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ

Крах рыночной экономики угрожает двум типам свободы: полезному и вредному.

Если свобода эксплуатировать ближнего, свобода получать непомерные доходы, не оказывая обществу соответствующих услуг, свобода препятствовать использованию технических изобретений на благо общества или свобода наживаться на всеобщих несчастьях, тайно провоцируемых для частной выгоды, могут испариться вместе со свободным рынком — это к лучшему.

Однако рыночная экономика, при которой расцветают все эти свободы, порождает и другие типы свобод, которые мы высоко ценим. Свобода совести, свобода слова, свобода собраний, свобода союзов, свобода выбирать занятие — мы дорожим ими ради них самих. Но в широком смысле это побочные эффекты той же экономики, которая ответственна и за вредные типы свободы.

Наличие в обществе особой экономической сферы образовало, так сказать, разрыв между политикой и экономикой, между правительством и промышленностью, который создает эффект ничьей территории. Как раздел суверенитета между папой и императором оставлял средневековым князьям поле для свободы, иногда граничащей с анархией, так и разделение власти между правительством и промышленностью в XIX веке позволяло даже беднякам вкушать плоды свободы, отчасти компенсирующие их незавидное положение.

С этим связан сегодняшний скептицизм в отношении будущего, уготованного свободе. Некоторые, например Хайек, полагают, что, поскольку свободные институты суть продукт рыночной экономики, с ее исчезновением они уступят место рабству. Другие, например Бернхем, настаивают на неизбежности появления новой формы рабства, называемой менеджеризмом.

Подобные аргументы свидетельствуют лишь о том, насколько живучи экономические предубеждения. Ведь такого рода детерминизм, как мы видели, есть тот же рыночный механизм под другим названием. Нелогично ссылаться на последствия, которые окажет его отсутствие на действие экономической необходимости, вытекающей из его наличия. Во всяком случае, этому противоречит англосаксонский опыт. Ни замораживание рынка труда, ни выборочная воинская повинность не повлияли на главные свободы американского народа, как может засвидетельствовать каждый, кто пережил в США тяжелый период с 1940 по 1943 год. В Великобритании во время войны были введены меры по всестороннему планированию экономики и было покончено с разрывом между правительством и промышленностью, на котором основывалась свобода в XIX веке, но никогда гражданские свободы не были столь надежно защищены, как в этот момент величайшей опасности. В действительности у нас будет столько свободы, сколько мы хотим получить и сохранить. В обществе нет предопределяющих факторов. Институциональные гарантии личной свободы совместимы с любой экономической системой. Лишь в рыночном обществе экономический механизм диктует свои законы.

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ ИНДУСТРИИ

То, что представляется нашему поколению проблемой капитализма, на самом деле является гораздо более масштабной проблемой индустриальной цивилизации. Либеральные экономисты не замечают этого факта. Защищая капитализм как экономическую систему, они игнорируют вызов Эпохи машин. Однако опасности, грозящие наиболее серьезными потрясениями, сегодня выходят за рамки экономики. Идиллические времена борьбы с трестами и тейлоризации закончились с приходом Хиросимы. Научное варварство следует за нами по пятам. Немцы пытались изобрести устройство, делающее смертельными солнечные лучи. Мы фактически произвели выброс смертельных лучей, который затмил солнце. При этом немцы исповедовали бесчеловечную философию, а мы придерживаемся гуманной философии. Здесь мы должны распознать предвестие нашей гибели.

Те люди в Америке, которые отдают себе отчет в масштабах проблемы, делятся на две группы. Некоторые уповают на элиты и аристократию, на менеджеризм и корпорации. Они полагают, что всему обществу следует лучше подстраиваться к экономической системе, которая, по их мнению, не подлежит изменению. Таков идеал Прекрасного нового мира, в котором индивид должен придерживаться порядка, изобретенного для него более мудрыми людьми. Другая группа, напротив, полагает, что в подлинно демократичном обществе проблема индустрии может быть решена в ходе планомерных мероприятий, осуществляемых самими производителями и потребителями. Такое сознательное и ответственное поведение фактически воплощает собой свободу в сложно устроенном обществе. Однако, как явствует из содержания данной статьи, подобный эксперимент может быть успешным, только если он будет основан на иных представлениях о человеке и обществе, чем те, что унаследованы нами от рыночной экономики.

ЭКОНОМИКА КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО ОФОРМЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС[1]

Основная задача данной главы — определить значение термина «экономический», которое можно было бы использовать во всех социальных науках.

Подобные попытки должны начинаться с простого признания того факта, что применительно к человеческой деятельности термин «экономический» используется в двух значениях, имеющих разные корни. Мы будем называть их содержательным и формальным значениями.

Содержательное значение (substantive meaning) экономического вытекает из факта зависимости человека от природы и других людей. Оно характеризует его взаимоотношения с природным и социальным окружением, которые обеспечивают ему средства удовлетворения материальных потребностей.

Формальное значение (formal meaning) термина «экономический» основывается на логическом характере связи между целями и средствами, являемой в таких понятиях, как «экономичный» или «экономить» (economical, economizing). Оно подразумевает конкретную ситуацию выбора, а именно выбора между различными способами использования средств, порождаемого их ограниченностью. Если правила, определяющие выбор средств, мы называем логикой рационального действия, то можем обозначить этот вариант логики новым термином — «формальная экономическая теория» (formal economics).

Два исходных значения (root meanings) понятия «экономический» — содержательное и формальное — не имеют между собой ничего общего. Первое проистекает из факта, второе — из логики.

[1] Karl Polanyi, "The Economy as an Instituted Process", in K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds.), *Trade and Markets in Early Empires.* New York: Free Press, 1957, p. 139–174. Перевод М. С. Добряковой. Науч. ред. В. В. Радаев.

Формальное значение подразумевает некий набор правил, касающихся выбора между альтернативными способами использования ограниченных средств. Содержательное значение не предполагает ни выбора, ни ограниченности средств. Жизнеобеспечение (livelihood) человека может включать или не включать необходимость выбора. Если же человек оказывается перед выбором, последний отнюдь не обязательно вызван ограничивающим эффектом скудости средств, ведь некоторые из наиболее важных физических и социальных условий существования людей, такие как наличие воздуха и воды или любовь матери к ребенку, как правило, не носят ограничивающего характера. Непреложность формального значения отлична от содержательного значения так же, как сила логического умозаключения отлична от силы земного притяжения. Законы первого — это законы разума; законы второго суть законы природы. Едва ли можно придумать значения более далекие друг от друга; семантически они находятся на противоположных полюсах.

Мы предполагаем, что только содержательное значение экономического способно порождать концепции, необходимые социальным наукам для эмпирического исследования всех типов хозяйства прошлого и настоящего. Следовательно, общая схема анализа (frame of reference), которую мы пытаемся выстроить, требует рассмотрения предмета в терминах содержательного определения. И сразу же на нашем пути возникает затруднение, проистекающее из бесхитростного переплетения двух значений экономического — содержательного и формального. Подобное смешение значений, конечно же, не столь страшно, если только мы помним об ограничениях, которые оно накладывает. Однако в распространенном ныне понятии «экономический» происходит смешение значений, предполагающих существование (subsistence) и дефицит (scarcity), при этом не осознается в полной мере вся опасность для мышления, которая таится в подобном смешении.

Эта комбинация терминов возникла вследствие логически случайных обстоятельств. В последние два столетия в Западной Европе и Северной Америке сложилась такая организация человеческого существования, при которой особенно значимыми оказались правила выбора. Эта форма хозяйства основывалась на системе ценообразующих рынков (price-making markets). Поскольку акты обмена при такой системе предполагают, что их участники осуществляют выбор по причине ограниченности средств, то вся си-

стема могла быть сведена к модели, которая использует методы, основанные на формальном значении экономического. Пока хозяйство контролируется такой системой, формальное и содержательное значения экономического на практике совпадают. Обыватели приняли это смешанное понятие как само собой разумеющееся; такие мыслители, как А. Маршалл, В. Парето, Э. Дюркгейм, также придерживались его. Только у К. Менгера в его посмертно опубликованной работе этот термин подвергается критике. Но ни К. Менгер, ни позднее М. Вебер и Т. Парсонс не понимали всей значимости этого различения для социологического анализа. Ведь кажется, что нет серьезного основания для разграничения двух значений одного термина, которые, как мы уже сказали, почти совпадали на практике.

Хотя подобное разграничение двух значений экономического в обыденной речи выглядело бы чистым педантизмом, их переплетение в одном понятии тем не менее превратилось в методологическое препятствие для социальных наук. Экономическая теория, естественно, стала исключением, поскольку в условиях рыночной системы предлагаемые ею термины оказывались достаточно близкими к реальности. Однако антрополог, социолог или историк, каждый со своих позиций изучавший место хозяйства в человеческом обществе, сталкивались с огромным разнообразием институтов, отличных от институтов рынка, в которых было укоренено существование человека. И разрешить эти проблемы посредством аналитического метода, разработанного для особой формы хозяйства, зависящей от наличия специфических рыночных элементов, было невозможно[2].

Эти выкладки очерчивают общие контуры наших дальнейших рассуждений.

Мы начнем с более тщательного анализа понятий, производных от двух значений экономического, постепенно продвигаясь от фор-

[2] Некритическое употребление смешанного понятия «экономический» привело к тому, что можно назвать экономистическим заблуждением (economistic fallacy). Оно состоит в искусственном отождествлении хозяйства с его рыночной формой. От Д. Юма и Г. Спенсера до Ф. Найта и Ф. Нортропа социальная мысль страдала от этого ограничения, стоило ей подойти к изучению хозяйства. Эссе Л. Роббинса, хотя и полезное для экономистов, окончательно исказило эту проблему [Robbins 1932]. В сфере антропологии недавно изданная работа М. Херсковица [Herskovits 1952] — своего рода продолжение его первой попытки рассуждений в этом направлении, предпринятой в 1940 году.

мального к содержательному значению. Представляется, что это позволит на эмпирическом уровне описать хозяйства, включая их первобытные и древние формы, в соответствии со способом институциональной оформленности экономического процесса. В качестве контрольных примеров мы рассмотрим три института: торговли, денег и рынка. Прежде они концептуализировались только с позиций формального определения, и, следовательно, любые пути к их анализу, кроме рыночного, были отрезаны. Рассмотрение же этих институтов в русле содержательного значения экономического должно приблизить нас к построению искомой универсальной схемы анализа.

ФОРМАЛЬНОЕ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

Рассмотрим формальные понятия и прежде всего то, как логика рационального действия порождает формальную экономическую теорию, а последняя, в свою очередь, создает условия для экономического анализа.

Рациональное действие определяется здесь как выбор средств по отношению к цели. Средства — это все, что может служить достижению цели посредством ли законов природы или правил игры. Таким образом, рациональное не характеризует ни цель, ни средства, но скорее выражает соответствие средств целям (relating of means to ends). Например, мы не говорим о том, что желание жить — более рационально, чем желание умереть, или же что при желании жить более рационально стремиться продлить свою жизнь научными средствами, нежели с помощью суеверий. Какой бы ни была цель, рациональным является сообразный ей выбор средств. Что же касается собственно средств, то было бы нерационально прибегать к тому, во что человек не верит. Так, для самоубийцы рационален выбор средств, которые приведут его к смерти. И если этот человек верит в черную магию — заплатить колдуну, чтобы тот помог это устроить.

Следовательно, логика рационального действия применима ко всем мыслимым средствам и целям, охватывающим чуть ли не бесконечное множество человеческих интересов. В разных сферах — будь то шахматы или техника, религиозная жизнь или философия — цели могут варьироваться от обыденных вопросов до самых сложных и трудноразрешимых проблем. Аналогично и в хозяйстве: цели могут варьироваться от сиюминутного утоления жажды до стремле-

ния достичь почтенного возраста в добром здравии. Как будут различны и средства их достижения: это могут быть, соответственно, стакан воды, вера в дочернюю и сыновнюю заботу или жизнь на свежем воздухе.

Если исходить из того, что выбор вызван ограниченностью средств, то логика рационального действия превращается в вариант теории выбора, который мы и называем формальной экономической теорией. Логически она еще не связана с понятием человеческого хозяйства, однако уже приблизилась к нему на один шаг. Как мы уже говорили, формальная экономическая теория описывает ситуацию, возникающую в результате ограниченности средств. Это так называемый постулат дефицита (scarcity postulate). Он предполагает, во-первых, ограниченность средств и, во-вторых, то, что ситуация выбора порождается именно этой ограниченностью. Недостаточность средств по отношению к целям определена при помощи простой операции целевого использования средств (earmarking), показывающей возможность того или иного действия. Для того чтобы недостаточность средств вела к ситуации выбора, этих средств должно быть несколько. То же относится и к целям — нужны по крайней мере две цели, выстроенные в порядке предпочтения. Оба эти условия являются фактами действительности, и не имеет значения, коренится ли причина использования средств каким-то определенным способом в традициях или технологии. Это касается и ранжирования целей.

Операционализировав таким образом понятия выбора, ограниченности и дефицита, мы сразу замечаем, что возможны выбор средств без ограниченности последних, равно как и ограниченность средств в отсутствие всякого выбора. Выбор может быть предпочтением правильного неправильному (нравственный выбор) или ситуацией, когда мы оказываемся на перепутье и к нашей цели ведут несколько путей, имеющих сходные достоинства и недостатки (операциональный выбор [operationally induced choice]). В обоих случаях изобилие средств не только не облегчает проблему выбора, но скорее усложняет ее. Разумеется, практически во всех сферах рационального действия проблема ограниченности средств может возникнуть или нет. Отнюдь не вся философия построена на творческом воображении, она может стремиться и к сокращению числа исходных посылок. Или же, возвращаясь к сфере человеческого существования: для одних цивилизаций ситуации недостатка средств являются скорее исключением, нежели правилом,

для других — это широко распространенное явление. В любом случае наличие или отсутствие дефицита ресурсов является фактом, и не важно, вызвана ли такая ситуация природными условиями или человеческими действиями.

Наконец, обратимся к экономическому анализу. Эта дисциплина развилась из приложения формальной экономической теории к конкретному типу хозяйства — рыночной системе. Хозяйство здесь воплощено в институтах, которые побуждают акты индивидуального выбора к образованию взаимозависимых движений, составляющих в итоге хозяйственный процесс. Это достигается посредством общего распространения ценообразующих рынков. Все товары и услуги, включая рабочую силу, землю и капитал, могут быть куплены на рынке и получают, следовательно, свою цену. Все формы дохода — соответственно, заработная плата, рента и проценты — извлекаются из продажи товаров и услуг и появляются лишь как различные элементы цены реализованного продукта. Общее определение покупательной способности как средства приобретения благ превращает процесс удовлетворения потребностей в использование ограниченных средств альтернативными способами посредством денег. Это означает, что и условия выбора, и его последствия поддаются количественному измерению в форме цен. Можно утверждать, что, приняв цену в качестве par excellence[3] экономического факта, формальный подход предполагает, что хозяйство в целом обусловлено ситуациями выбора, которые возникают вследствие ограниченности средств. Понятийный аппарат, позволяющий описать такую ситуацию, и лежит в основе экономического анализа.

Отсюда вытекают и пределы, в рамках которых экономический анализ может быть эффективен как метод. Формальное значение экономического представляет хозяйство как последовательность актов экономии ресурсов (acts of economizing), иными словами, как совокупность выборов, вызванных дефицитом средств. Хотя правила, управляющие подобными актами, имеют универсальный характер, степень, в которой эти правила применимы к какому-то конкретному хозяйству, зависит от того, является ли в реальности данное хозяйство последовательностью таких актов. Чтобы обеспечить количественные результаты, акты перемещения и приобретения товаров, которые составляют хозяйственный процесс, должны выступать как функции социальных действий по отношению к огра-

[3] Преимущественно (*франц.*). — *Прим. пер.*

ниченным средствам и быть ориентированы на итоговые цены. Такая ситуация возможна только в условиях рыночной системы.

В результате связь между формальной экономической теорией и человеческим хозяйством оказывается непрочной. За пределами системы ценообразующих рынков экономический анализ как метод исследования реального хозяйства чуть ли не полностью теряет свое значение. Наглядным подтверждением этому служит централизованное плановое хозяйство, основанное на нерыночных ценах.

Корни содержательного понятия «экономический» — в реальном хозяйстве. Вкратце (что может быть рискованным) его можно определить как институционально оформленный процесс взаимодействия между человеком и окружающей средой, ведущий к постоянному обеспечению материальных средств для удовлетворения потребностей. Удовлетворение потребностей материально, если оно предполагает использование материальных средств для достижения целей; в случае таких конкретных физиологических нужд, как потребность в пище или жилье, используются лишь так называемые услуги (so called services).

Таким образом, хозяйство предстает как институционально оформленный процесс (instituted process). И здесь мы сталкиваемся с двумя понятиями — «процесс» и «институциональная оформленность» (institutedness). Посмотрим, что они могут добавить к нашей аналитической схеме.

Процесс предполагает анализ с позиций движения (motion). Перемещения (movements) характеризуют место расположения (location) или акт присвоения (appropriation) либо и то и другое. Иначе говоря, материальные ресурсы могут менять свое положение, перемещаясь с места на место или переходя из рук в руки. Опять-таки эти совершенно разные смены позиции могут происходить как вместе, так и порознь. Видимо, все возможные перемещения в рамках хозяйственного процесса как природного и социального явления могут быть сведены к указанным двум видам перемещений.

Пространственные перемещения (locational movements) включают производство и транспортировку, для которых пространственное передвижение одинаково важно. Товары могут быть низшего или высшего порядка — в зависимости от их полезности для потребителя. Известный способ ранжирования товаров (order of goods) противопоставляет потребительские товары товарам для производителей в зависимости от того, удовлетворяют ли они ту или иную потребность напрямую или косвенным образом, то есть в сочета-

нии с другими товарами. Подобное движение элементов и составляет суть хозяйства в содержательном смысле, каким выступает производство.

Перемещения путем присвоения (appropriative movements) охватывают то, что обычно называют товарным обращением и его администрированием. В первом случае это перемещение является результатом трансакций, во втором — распорядительских позиций (dispositions). Соответственно, трансакция — это перемещение из рук в руки путем присвоения, а распоряжение (disposition) есть одностороннее присвоение волею традиций или закона. В роли субъектов («рук») могут выступать общественные учреждения и службы, а также частные лица или фирмы; различие между ними состоит главным образом в их внутренней организации. Однако следует отметить, что в XIX веке трансакции ассоциировались, как правило, с частными лицами, а распорядительские позиции — с общественными учреждениями.

Подобный выбор терминов подразумевает выведение ряда дальнейших определений. Социальную деятельность, пока она является частью процесса производства и транспортировки, можно называть хозяйственной. Институты можно называть хозяйственными — в зависимости от степени их сконцентрированности на такого рода деятельности. Любые компоненты этого процесса можно рассматривать в качестве хозяйственных элементов. Для удобства последние можно подразделить на экологические, технологические и социетальные в зависимости от того, относятся ли они преимущественно к окружающей среде, механическому оборудованию или человеческой сфере. Таким образом, при характеристике хозяйства как процесса наша аналитическая схема обрастает рядом понятий — старых и новых.

Тем не менее, если мы сведем хозяйственный процесс только к взаимодействию элементов механического, биологического или психологического свойства, он не достигнет уровня всеобщности. От него останется лишь остов, образованный процессами производства и транспортировки, а также перемещениями от одного владельца к другому (appropriative changes). При отсутствии какого бы то ни было указания на социетальные условия, из которых вытекают мотивы индивидов, едва ли можно сказать, что именно поддерживает взаимозависимость и повторяемость перемещений, от которых зависят единство структуры и стабильность процесса в целом. Взаимодействующие элементы природной и человеческой сред не сложились бы в нечто цельное, не возникло бы структурного един-

ства, о котором можно было бы сказать, что оно выполняет некую функцию в обществе или обладает собственной историей. Этому процессу недоставало бы тех самых качеств, которые и заставляют обыденное сознание и научное сообщество обратиться к проблемам человеческого существования как области, представляющей серьезный практический интерес, а также обладающей большим теоретическим и нравственным значением.

Отсюда следует исключительная важность институционального аспекта хозяйства. То, что на уровне процесса происходит между человеком и почвой при вспахивании земли или появляется на ленте конвейера при сборке автомобиля, prima facie[4] является не более чем согласованными перемещениями живой и неживой материи. С институциональной точки зрения это простое обозначение терминов, таких как рабочая сила и капитал, ремесло и профсоюз, замедление и ускорение, распределение рисков и другие семантические единицы социального контекста. Например, выбор между капитализмом и социализмом подразумевает два различных пути институционального оформления (instituting) современной технологии в процессе производства. В сфере политики индустриализация отсталых стран опять-таки предполагает, с одной стороны, альтернативные методы ее осуществления, а с другой — альтернативные пути институционального оформления этих методов. Наше концептуальное разграничение чрезвычайно важно для понимания взаимозависимости технологии и институтов, равно как их относительной самостоятельности.

Институциональное оформление хозяйственного процесса придает ему внутреннее единство и стабильность. Оно порождает структуру, наделенную в обществе конкретной функцией. Оно изменяет место хозяйственного процесса в обществе, придавая тем самым большую значимость его истории. Оно концентрирует внимание на ценностях, мотивах и проводимой политике. Единство и стабильность, структура и функция, история и политика (policy) на операциональном уровне иллюстрируют наше утверждение о том, что человеческое хозяйство — это институционально оформленный процесс.

В этом случае человеческое хозяйство укоренено в институтах, экономических и неэкономических, вплетено в них. Важно подчеркнуть включение сюда неэкономических элементов. Ведь религия или управление могут быть так же важны для структуры и функци-

[4] На первый взгляд (*лат.*). — *Прим. пер.*

онирования хозяйства, как денежные институты или наличие машин и оборудования, облегчающих тяжелое бремя труда.

Таким образом, исследование изменения места хозяйства в обществе — это, по сути, исследование способов институционального оформления экономического процесса в разное время и в разных местах.

Для этого требуются особые исследовательские инструменты.

РЕЦИПРОКНОСТЬ, ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБМЕН

Исследование институционального оформления реальных хозяйств (empirical economies) должно начинаться с анализа того, как эти хозяйства обретают внутреннее единство и стабильность, то есть взаимозависимость и повторяемость их составных частей. Это достигается сочетанием очень немногих способов связи (patterns), которые можно назвать формами интеграции. Поскольку эти способы связи существуют бок о бок на разных уровнях и в различных секторах хозяйства, зачастую невозможно выделить какой-либо из них в качестве доминирующего. Поэтому все они должны использоваться для классификации реальных хозяйств в целом. Тем не менее, различаясь в зависимости от сектора и уровня хозяйства, формы интеграции являются сравнительно простым средством описания хозяйственного процесса, привнося таким образом некую долю упорядоченности в его бесчисленные вариации.

На эмпирическом уровне основными способами связи являются реципрокность, перераспределение и обмен. Реципрокность (reciprocity) обозначает перемещения между соответствующими точками в симметричных группах. Перераспределение (redistribution) представляет акты стягивания товаров центром с их последующим перемещением из центра. Под обменом (exchange) подразумеваются встречные перемещения из рук в руки в условиях рыночной системы. Следовательно, реципрокность предполагает наличие симметрично расположенных групп (symmetrically arranged groupings); перераспределение зависит от существования в группе определенной степени централизованного (centricity); обмен, чтобы порождать интеграцию, подрузумевает наличие системы ценообразующих рынков. Очевидно, что различные способы интеграции требуют определенной институциональной поддержки.

Здесь будут нелишними некоторые пояснения. Термины «реципрокность», «перераспределение» и «обмен», с помощью кото-

рых мы характеризуем способы интеграции, часто используются для обозначения межличностных отношений. На первый взгляд, может показаться, что формы интеграции попросту отражают совокупность соответствующих форм индивидуального поведения: там, где отношения между индивидами предполагают взаимность (mutuality), складывается реципрокная интеграция; там, где существует распределение чего-то между индивидами, возникает перераспределительная (редистрибутивная) интеграция; наконец, частые акты товарообмена (barter) между индивидами ведут к обмену как форме интеграции. Если бы это было так, то указанные нами способы интеграции представляли бы собой не более чем сумму соответствующих форм поведения на индивидуальном уровне. Чтобы уточнить свою позицию, мы утверждаем, что интегративный эффект обусловлен наличием определенных институциональных образований (arrangements): симметричных организаций, центров и рыночных систем соответственно. Но такие образования, по всей видимости, являют собой простую совокупность тех самых частных способов связи, конечное действие которых они и призваны обусловливать. Важно подчеркнуть, что простая сумма индивидуальных поведенческих актов сама по себе не порождает такие структуры. Реципрокное поведение на уровне индивидов способно интегрировать хозяйство только при наличии симметрично организованных структур, таких как симметричная система родственных групп. Однако система родства никогда не выступает просто как результат реципрокного поведения на уровне индивидов. То же относится и к перераспределению. Оно предполагает наличие в сообществе распределительного центра (allocative center). При этом организация и обоснование деятельности такого центра не выступают просто результатом частых актов распределения благ между индивидами. Это же касается и рыночной системы.

Акты обмена на уровне индивидов порождают цены только в том случае, если эти акты происходят в системе ценообразующих рынков, то есть в институциональной среде, которая нигде не формируется просто случайными актами обмена. Конечно же, мы не имеем в виду, что эти поддерживающие способы связи (supportive patterns) являются продуктом каких-то таинственных сил, действующих помимо отдельных индивидов. Мы просто хотим сказать, что в каждом конкретном случае социетальные последствия индивидуального поведения зависят от наличия определенных институциональных условий, и поэтому данные условия не складыва-

ются из актов индивидуального поведения. Сначала кажется, что поддерживающий способ связи (supportive pattern) возникает как кумулятивный результат соответствующего типа индивидуального поведения, однако необходимые элементы его организации и обоснования обязательно привносятся и совершенно другими типами поведения.

Первым автором, обратившим внимание на фактическую взаимосвязь между реципрокным (reciprocative) поведением на межличностном уровне, с одной стороны, и определенными симметричными группами – с другой, был антрополог Ричард Турнвальд (Richard Thurnwald), описавший еще в 1915 году систему заключения брака у народности банар в Новой Гвинее. Примерно десятилетие спустя Бронислав Малиновский, ссылаясь на Турнвальда, высказал предположение, что социально значимые акты реципрокного поведения, как правило, основываются на симметричных формах основной социальной организации. Его собственные описания системы родства и обмена согласно обычаю кула[5] на Тробрианских островах подтверждают этот тезис. Малиновский развивает эту мысль далее, рассматривая симметрию как лишь один из поддерживающих способов связи. Другими формами интеграции, помимо реципрокности, он называет перераспределение и обмен; аналогично в качестве примеров институциональной поддержки (помимо симметрии) он приводит также централизацию и рынок. Именно отсюда мы заимствуем наши формы интеграции и поддерживающей структурной связи.

Все это должно нам помочь объяснить, почему при отсутствии определенных институциональных предпосылок в экономической сфере межличностное поведение столь часто не приводит к ожидаемым социетальным эффектам. Только в симметрично организованной среде реципрокное поведение ведет к становлению сколь-либо значимых экономических институтов; только там, где существуют распределительные центры, индивидуальные акты распределения (acts of sharing) способны породить перераспределительное хозяйство; только при наличии системы ценообразующих рынков акты обмена между индивидами приводят к возникновению колеблющихся цен, интегрирующих хозяйство. В противном случае подобные акты товарообмена окажутся неэффективными и в результате

[5] Кула – обычай жителей Тробрианских островов, состоящий в обмене дарами и имеющий статус священного. См. также: Уорнер У. Живые и мертвые. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 645. – *Прим. пер.*

станут происходить все реже и реже. Если же они все-таки будут повторяться случайным образом, то вызовут бурную эмоциональную реакцию, как если бы в них было что-то неприличное или сродни предательству, ибо поведение в сфере торговли никогда не является эмоционально нейтральным и, значит, получает негативную оценку, стоит только преступить черту, обозначающую установленные порядки.

Вернемся теперь к формам интеграции.

Если некая группа вознамерится построить свои экономические отношения на реципрокной основе, для достижения своих целей она должна будет разбиться на подгруппы, члены которых смогут идентифицировать друг друга в качестве таковых. Члены группы *A* смогут тогда установить отношения реципрокности со своими контрагентами в группе *B* и наоборот. Но симметричность не ограничивается подобным дуализмом. Три, четыре и более групп могут быть симметричны по двум или более осям. Кроме того, члены группы могут не вступать в реципрокные отношения друг с другом, однако иметь их с определенными членами других групп. Например, на Тробрианских островах мужчина заботится о семье своей сестры, муж сестры в этом отношении ему не помогает. Если же этот мужчина женат, то ему помогает брат его жены, то есть член третьей семьи, занимающий симметричную позицию.

Аристотель полагал, что каждому типу сообщества (koinonia) соответствует определенный тип привязанности между его членами (philia), выражающийся в реципрокности (antipeponthos). Это касалось и наиболее устойчивых, постоянных сообществ (таких как семья, племя или город-государство), и тех, что выступали составными частями или подчиненными элементами первых. В нашей терминологии это означает, что крупные сообщества имеют тенденцию вырабатывать многоуровневую симметрию отношений (multiple symmetry), в соответствии с которой реципрокное поведение станет развиваться в сообществах низшего порядка. Чем более близкими друг другу чувствуют себя члены крупного сообщества, тем более они будут склонны переводить на реципрокную основу конкретные отношения, ограниченные во времени, пространстве или как-либо иначе. Родство, соседство, тотем являются наиболее постоянными и полными (comprehensive) группами. Внутри них добровольные и полудобровольные объединения военного, профессионального, религиозного или социального характера создают условия (по крайней мере временные или применительно

к данному месту или типичной ситуации) для формирования симметричных групп, члены которых связаны теми или иными взаимными узами.

Реципрокность как форма интеграции становится значительно более мощной в силу своей способности использовать перераспределение и обмен в качестве вспомогательных методов. Она может достигаться посредством распределения трудового бремени в соответствии с определенными правилами перераспределения (например, при выполнении того или иного действия по очереди). Аналогично реципрокность иногда достигается посредством обмена в установленных пропорциях (at set equivalences), который выгоден партнеру, испытывающему необходимость в чем-либо. Это один из фундаментальных институтов обществ Древнего Востока. В результате в нерыночных хозяйствах две формы интеграции — реципрокность и перераспределение — работают вместе.

Отношения перераспределения складываются в группе в той степени, в какой распределение товаров в ней сосредоточено в одних руках и подчиняется обычаю, закону или ситуативному решению центра. Иногда они включают физическую централизацию благ, предполагающую их хранение и перераспределение (storage-cum-redistribution). В других случаях «сбор» происходит не в физической форме, а только на уровне смены владельца (appropriational), иными словами, передаются права распоряжения физическим расположением товаров. Перераспределение происходит по многим причинам на всех этапах цивилизации, начиная от первобытных охотничьих племен до крупных складских систем Древнего Египта, Шумера, Вавилона или Перу. В крупных странах необходимость системы перераспределения может вызываться почвенными и климатическими различиями, в других обстоятельствах перераспределение обусловлено разрывом во времени между сбором урожая и его потреблением. В случае с охотой любой иной метод распределения привел бы к дезинтеграции племени или общины, поскольку необходимого результата здесь можно достичь только при условии разделения труда. Перераспределение покупательной способности может выступать как самоценность, например, в русле провозглашенных общественных идеалов, как это происходит в современном государстве благосостояния. Принцип остается тем же: сначала все собирается в центре, а затем распределяется из центра. Отношения перераспределения могут существовать и в меньших группах внутри общества, таких как домохозяйство или феодальное поместье, независимо

от того, каким способом интегрировано хозяйство в целом. Наиболее известные примеры такого перераспределения — центральноафриканский крааль, еврейское патриархальное домохозяйство, греческое поселение[6] времен Аристотеля (estate), римское семейство (familia), средневековый манор[7] или типичное крупное крестьянское домохозяйство до появления общей практики вывоза зерна на рынок. Однако только при сравнительно развитой форме сельскохозяйственного общества система крупных домохозяйств такого рода становится возможной, а впоследствии и обычной формой хозяйства. До этого этапа широко распространенная малая семья не была институционализирована экономически, за исключением некоторых элементов приготовления еды. Использование же пастбищ, земли, скота по-прежнему регулировалось перераспределительными или реципрокными методами за рамками одной семьи.

Перераспределение также служит интеграции групп на всех уровнях, независимо от их устойчивости во времени, — это могут быть и государство, и единицы переходного характера. Здесь, как и в случае с реципрокностью, чем теснее связи в рамках более крупной единицы, тем разнообразнее подгруппы, в которых может эффективно действовать система перераспределения. Платон полагал, что оптимальное число граждан в государстве — 5040 человек. Эту цифру можно делить 59 различными способами, включая деление на начальные десять чисел. Он объяснял, что такая численность населения предоставляет наиболее широкие возможности при расчете налогов, формировании групп для деловых трансакций, для выполнения военных и прочих обязанностей по очереди и т.д.

Чтобы выступать в качестве формы интеграции, обмен должен поддерживаться системой ценообразующих рынков. Следует различать три типа обмена: простое перемещение товаров в пространстве из рук в руки (операциональный обмен), обмен между их владельцами на основе фиксированного эквивалента (обмен на основе решения) и обмен на основе торга (интегративный обмен). Если действует обмен на основе фиксированных ставок (decisional exchange), хозяйство интегрируется не рыночным механизмом, а факторами, фиксирующими эти ставки. Даже ценообразующие рынки

[6] Такое поселение занимает промежуточное положение между семьей и полисом. — *Прим. пер.*

[7] Манор — название феодальной вотчины в средневековой Англии.

выступают в качестве интегрирующего механизма, только если они связаны между собой в систему, при которой действие цен распространяется и на другие рынки помимо тех, которые они затрагивают непосредственно.

Торг (higgling-haggling) совершенно справедливо считается основой поведения в сфере заключения сделок (bargaining). Для того чтобы обмен выступал как интегрирующий механизм, поведение партнеров должно быть ориентировано на установление цены, приемлемой для каждого из них. Такое поведение в корне отличается от обмена на основе фиксированных цен. Видимо, различие проистекает из неоднозначности термина «выгода» (gain). Обмен при фиксированных ценах предполагает выгоду хотя бы для одной из задействованных в нем сторон; обмен на основе колеблющихся цен имеет целью выгоду, которую можно получить только на основе выражения антагонистичных отношений между партнерами. Элемент антагонизма, в сколь бы мягкой форме он ни проявлялся, непременно сопутствует данному типу обмена. Ни одно сообщество, стремящееся сохранить чувство солидарности в своих членах, не может позволить развиваться скрытой враждебности между ними (например, по поводу пищи — вопроса, столь важного для человеческого существования и, следовательно, способного вызывать сильное напряжение). Отсюда — повсеместный запрет трансакций, ориентированных на получение выгоды в отношении еды и продуктов питания в первобытных и древних обществах. Очень широко распространенный запрет на торги по поводу пищи автоматически исключает ценообразующие рынки из группы ранних институтов.

Интересна традиционная классификация хозяйств, в грубом приближении похожая на классификацию в соответствии с господствующими формами интеграции. То, что историки привыкли называть экономическими системами, видимо, вполне вписывается в эту модель. Господство той или иной формы интеграции отождествляется здесь со степенью, в какой распоряжение землей и трудом в обществе осуществляется на основе именно этой формы интеграции. Так называемое общество дикарей (savage society) характеризуется интеграцией земли и труда в хозяйство узами родства. В феодальном обществе судьбы земли и труда на ней определяются отношениями между феодалом и вассалом. В ирригационных обществах земля распределялась и иногда перераспределялась, как правило, церковью или правящей династией, то же происходило с рабочей силой — по крайней мере

с зависимым трудом. Постепенное подчинение хозяйства рынку можно проследить, если обратить внимание на то, как земля и пища мобилизовались посредством обмена, а рабочая сила превращалась в товар, который свободно покупался на рынке. Это помогает объяснить значение традиционной для марксизма, но исторически не оправдавшей себя теории стадий (формаций) — рабства, крепостничества, наемного труда. Подобная классификация строится на убеждении, что тип хозяйства задается характером труда. Однако едва ли стоит полагать, будто в этом отношении характер интеграции земельных наделов в хозяйстве менее важен.

В любом случае та или иная форма интеграции не отражает исторических стадий развития. Формы интеграции не предполагают никакой последовательности во времени. Наряду с одной господствующей формой интеграции могут существовать несколько подчиненных форм, сама же господствующая форма также может временно отойти на задний план, а затем вернуться. В родовых общинах действуют реципрокность и перераспределение, в то время как архаичные общества основываются главным образом на перераспределении (хотя в какой-то степени могут использовать и отношения обмена). Реципрокность, играющая главную роль в некоторых меланезийских обществах, в редистрибутивных империях древности занимает хотя и значимое, но подчиненное положение: международная торговля (основанная на системе приносимых и ответных даров) в значительной мере организована по принципу реципрокности. Например, в XX столетии во время войны этот принцип был введен вновь и широко использовался под названием ленд-лиза государствами, в которых в невоенной ситуации доминировали отношения рынка и обмена. Перераспределение — основной принцип отношений в родовой общине и древнем обществе, по сравнению с которым обмен играет лишь второстепенную роль, — приобрело огромное влияние в поздней Римской империи и постепенно набирает силу сегодня в некоторых индустриальных государствах (крайний случай — Советский Союз). И наоборот, прежде в истории человечества рынки не раз играли заметную роль в экономике, хотя никогда — ни с точки зрения территориального охвата, ни с точки зрения полноты институционального оформления — эта роль не была сопоставима с их ролью в XIX веке. Однако и здесь также наблюдаются заметные перемены. В XX столетии с падением золотого стандарта началось сокращение роли рын-

ков в мировом хозяйстве по сравнению с XIX веком. Этот поворот, кстати, возвращает нас к исходной точке — к более ясному пониманию неадекватности наших рыночно ориентированных определений, слишком узких для социального исследования экономического поля.

ФОРМЫ ТОРГОВЛИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ И ЭЛЕМЕНТЫ РЫНКА

Ограничивающее влияние рыночного подхода к интерпретации институтов торговли и денег совершенно очевидно: рынок неизбежно оказывается местом обмена, торговля — это собственно обмен, а деньги — средство обмена. Поскольку торговля направляется ценами, а цены суть функция рынка, всякая торговля рассматривается как рыночная, как и все деньги — как деньги, обслуживающие обмен (exchange money). Рынок — это порождающий институт, а торговля и деньги — его функции.

Такие рассуждения оказываются неверными при анализе антропологических и исторических фактов. Торговля, равно как и некоторые способы использования денег, стара как мир, в то время как роль рынков оставалась незначительной вплоть до сравнительно недавнего времени (хотя какие-то действия экономического характера могли осуществляться и в период неолита). Ценообразующие рынки, на которых, собственно, и держится рыночная система, согласно всем свидетельствам, не существовали до первого тысячелетия античности и затем были вытеснены другими формами интеграции. Однако даже эти основополагающие факты оставались скрытыми от нас, пока считалось, что единственная форма интеграции торговли и денег — это обмен как самая экономическая форма интеграции. Освобождение от оков узкорыночной терминологии позволило по-новому увидеть продолжительные периоды истории, когда реципрокность и перераспределение выступали интегрирующей основой хозяйства, а также заметить, в сколь значительной степени такая ситуация сохраняется и поныне.

Формально торговля, деньги и рыночная форма хозяйства, если рассматривать их в качестве части системы обмена, являются неделимым целым. Их общую концептуальную основу образует рынок. Торговля выступает как встречное движение товаров посредством рынка, деньги — как поддающиеся количественному измерению товары, используемые для косвенного обмена в це-

лях стимулирования этого движения. Подобный подход должен провоцировать более или менее явное принятие эвристического принципа, согласно которому рассуждения о торговле подразумевают рынки, рассуждения о деньгах подразумевают торговлю, а значит, и рынки. Естественно, это ведет к тому, что рынки обнаруживаются там, где их нет, а торговля и деньги игнорируются там, где отсутствуют рынки. Кумулятивный эффект приводит к формированию стереотипных представлений о хозяйствах менее известных эпох и стран, которые по качеству сродни искусственному ландшафту и лишь отдаленно (в лучшем случае) напоминают оригинал.

По этой причине далее торговля, деньги и рынки анализируются отдельно.

1. Формы торговли

С содержательной точки зрения торговля является относительно мирным способом приобретения товаров, не имеющихся в свободном доступе. Торговля носит внешний характер по отношению к группе и в этом смысле подобна таким привычным для нас видам деятельности, как охота, поработительные набеги или пиратские рейды. Во всех этих случаях продукты приобретаются и привозятся издалека. От поиска дичи, богатств, редких растений или экзотических животных торговлю отличает двусторонность движения товаров, что также обеспечивает ее в целом мирный и относительно постоянный характер.

С формальной точки зрения торговля — это движение продуктов через рынок. Все товары (commodities) (предметы, произведенные для продажи) — это потенциальные объекты торговли. Один товар движется в одном направлении, другой — в противоположном. Это движение контролируется ценами: торговля и рынок неразрывно связаны между собой (coterminous). Всякая торговля — это рыночная торговля.

Опять-таки, подобно охоте, пиратскому набегу или поисковой экспедиции, торговля — это скорее групповой, нежели индивидуальный вид деятельности. В этом отношении она весьма близка к организации процессов ухаживания и заключения брака, часто сопряженных с приобретением жен издалека более или менее мирными средствами. Таким образом, торговля возникает в процессе взаимодействий разных сообществ, где одной из целей является обмен товарами. Подобные взаимодействия, в отличие

от ценообразующих рынков, не устанавливают пропорции обмена (rates of exchange), напротив, они предполагают уже заданные ставки. Здесь не важна личность отдельного торговца, нет и мотивов индивидуальной выгоды. В целом это коллективное действие как в случае, если группа напрямую встречается с членами другой группы на берегу с целью обмена, так и в случае, когда вождь или лидер один действует от имени сообщества, собрав товары на экспорт от его членов. Обмен между партнерами по торговле — явление распространенное, однако столь же распространено партнерство в области ухаживания и заключения брака. Индивидуальные и коллективные действия здесь тесно переплетены.

Акцент на приобретении товаров издалека как конститутивном элементе торговли показывает господствующую роль, которую играла заинтересованность в импорте на ранних этапах истории торговли. В XIX веке резко возрос интерес к экспорту, что является типично формальным феноменом.

Поскольку при торговле предметы перемещаются на некое расстояние, причем это перемещение происходит в двух направлениях, она по природе своей имеет ряд составляющих (таких как акторы (personnel), товары, перевозка, встречные потоки), каждую из которых можно разделить на основе социологически или технологически значимых критериев. Мы надеемся, что анализ этих четырех факторов позволит нам лучше понять изменение роли торговли в обществе.

Сначала рассмотрим, что за акторы участвуют в процессе торговли.

Приобретение товаров издалека может осуществляться либо по мотивам, связанным с положением торговца в обществе и, как правило, включающим элементы служения обществу (статусный мотив), либо ради материальной выгоды, которую торговец получит для себя лично в результате акта покупки и продажи (мотив прибыли).

Несмотря на великое множество возможных сочетаний этих мотивов, в качестве двух основных, противоположных друг другу мотивов можно выделить честь и долг, с одной стороны, и прибыль — с другой. Если статусный мотив, как это довольно часто бывает, подкрепляется материальным вознаграждением, последнее обычно не принимает форму лишь чистой выгоды, полученной в результате обмена. Это скорее сокровище или пожалование доходами от землевладения, дарованные торговцу королем, церковью или феодалом. При таком раскладе выгода, получаемая торговцем в резуль-

тате обмена, в основном не велика и совершенно не сопоставима с богатством, которое дарует феодал изобретательному и успешному предпринимателю. Таким образом, тот, кто занимается торговлей по долгу службы и из соображений чести, становится богатым, в то время как тот, кто гонится за грязными барышами, остается бедным, что в результате служит еще одной причиной, объясняющей, почему в примитивном обществе мотивы выгоды остаются в тени.

Другой способ подойти к вопросу об акторах (участниках торговли) — рассмотреть проблему с позиций жизненных стандартов, которые сообщество этих людей полагает соответствующими их статусу.

В целом в примитивном обществе торговец может занимать положение только либо на вершине социальной лестницы, либо у ее основания. Первый случай предполагает лидерство и правление, ибо их требуют политические и военные условия торговли. Во втором случае жизнь торговца — это тяжкий труд. Данный факт очень важен для понимания организации торговли в Древнем мире. Тогда не могло быть торговцев (по крайней мере среди граждан), которые принадлежали бы к среднему классу. Если не считать Дальнего Востока, который мы здесь не рассматриваем, есть только три серьезных примера существования многочисленного среднего класса в досовременную эпоху: купец-эллин, потомок метеков[8] в городах-государствах Восточного Средиземноморья; вездесущий исламский купец, который перенял морские традиции эллинов и направился к восточному базару; наконец, в Западной Европе — потомки людей, названных А. Пиренном[9] «плавающими отбросами» (floating scum), — своего рода континентальные метеки второй трети Средневековья. Классический средний класс, выделенный Аристотелем, был классом землевладельцев, а вовсе не торговым классом.

[8] Метеки — в Древней Греции чужеземцы, а также рабы, отпущенные на волю. Лично свободные, они не имели, однако, политических прав. Среди метеков встречались богатые рабовладельцы, торговцы, владельцы ремесленных мастерских. В V–IV веках до нашей эры метеки составляли значительную часть городского населения Аттики. — *Прим. пер.*

[9] Анри Пиренн (1862–1935) — бельгийский историк-экономист, специалист по проблемам экономической истории средневековой Западной Европы. — *Прим. пер.*

Третий способ анализа акторов (участников торговли) — более узко исторический. В древности торговцы делились на тамкарумов (tamkarum) (то есть метеков или чужестранцев, постоянно проживающих в стране) и просто чужестранцев.

Тамкарумы доминировали в Месопотамии со времен Шумера до появления ислама — более трех тысяч лет. Для Египта, Китая, Индии, Палестины, Центральной Америки (до ее завоевания) и коренных народов Западной Африки это был единственный тип торговца. Метек появился на исторической сцене в Афинах и некоторых других греческих городах как купец низшего сословия, превратившись вместе с развитием эллинизма в прототип представителя грекоговорящего или левантийского торгового среднего класса, распространившегося от долины Инда до пролива Гибралтар. *Тип чужестранца, конечно же, встречается повсюду. Он занимается* торговлей со своей чужестранной торговой командой и на чужеродной почве; он не является членом сообщества, в котором торгует, не имеет даже приниженного статуса чужестранца, проживающего на данной территории постоянно; он принадлежит к совершенно другому сообществу.

Четвертый критерий разделения акторов в торговле — антропологический. Этот критерий является ключом к пониманию своеобразной фигуры торговца-чужестранца. Хотя число торгующих народов, к которым принадлежали такие чужестранцы, сравнительно невелико, их было достаточно для того, чтобы образовать широко распространенный институт пассивной торговли (passive trade). Торгующим народам была свойственна и внутренняя дифференциация: жизнь подлинно торгующих народов (таких как финикийцы, жители финикийской колонии Гады[10], родосцы, в какие-то периоды — армяне и евреи) была целиком построена на торговле, которой прямо или косвенно было занято все население. Для другой, более многочисленной, группы торговля являлась лишь одним из видов деятельности, которым время от времени занималась значительная часть населения, что предполагало путешествия в чужие страны (порою с семьей) на более или менее продолжительное время. Примерами таких групп служат народы хаусса и мандинго Западного Судана. Мандинго известны также как дуала, однако, как недавно выяснилось, так их называли только при занятии торговлей в других странах. До обнаружения этого факта они восприни-

[10] Иначе Гадес, современный Кадикс. — *Прим. пер.*

мались жителями страны, где торговали, как самостоятельная народность.

Перейдем ко второму фактору — товарам. На ранних этапах организация торговли была дифференцирована в зависимости от того, какие товары перевозились, на какое расстояние, какие препятствия при этом приходилось преодолевать торговцам, в каких политических и экологических условиях происходила торговля. По этой причине всякая торговля по определению конкретна. Такой делают ее товары и их перевозка. Это означает, что не может быть торговли вообще.

Если мы не понимаем эту посылку до конца, то не сумеем понять и того, как на ранних этапах происходило развитие институтов торговли. Решение о приобретении какого-то одного вида товаров (произведенных на определенном расстоянии, в определенном месте) отлично от аналогичного решения о другом виде товаров, находящихся в другом месте. В силу этого торговые операции — дискретны. Они ограничены конкретными действиями, каждое из которых осуществляется поодиночке и не ведет к развитию постоянного занятия. Римское «социетас» (societas), так же как и позднее «коммента» (commenda)[11], являлось торговым партнерством, ограниченным единичными операциями. Единственным исключением было «социетас публиканорум» (societas publicanorum)[12], которое занималось сбором налогов на земельную собственность и договорные сделки: это было постоянное

[11] Commenda — предшественники акционерных компаний, командитные общества, в которых один из контрагентов ссужал другому деньги или товары для торгового путешествия на условиях участия в прибылях. Торговые связи с Византией и крупными городами ислама предполагали контроль над перевозками и финансовые резервы, необходимые для продолжительных операций, а значит, и крепнувшие объединения купцов. Одним из ранних решений [проблемы] было societas maris — морское товарищество (именовавшееся также societas vera — «истинное товарищество»). Оно также именовалось в разных вариантах либо collegantia, либо commenda. Речь шла об объединении двух компаньонов: одного, остававшегося на месте (socius stans), и другого, грузившегося на отплывающий корабль (socius tractator). ...Обычно societas maris создавалось на одно-единственное плавание. См.: Брокгауз Ф., Ефрон И. Энциклопедический словарь (http://www.booksite.ru/fulltext/broAga/brokefr/O/l15.htm); Бродель Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс, 1986. — *Прим. пер.*

[12] Societas publicanorum — общество арендаторов. — *Прим. пер.*

предприятие. Постоянных торговых ассоциаций не возникало вплоть до эпохи современности.

Специфика торговли усиливается естественным образом в силу необходимости приобретения импортных товаров в обмен на экспортные. В нерыночных условиях импорт и экспорт происходят в разных режимах. Процесс сбора товаров для экспорта практически не связан с процессом размещения импортируемых товаров и относительно независим от него. В первом случае это могут быть дань, налог, феодальные подати или любые другие каналы, по которым продукты стекаются в центр, в то время как распределяемые импортные товары могут двигаться различными путями. Положение об освобождении от уплаты налогов (Seisachtheia)[13] в Своде законов царя Хаммурапи делает исключение для так называемых товаров simu — некоторых импортных товаров, переданных правителем через торговца-тамкарума арендаторам, желавшим обменять на них какую-то свою продукцию. Торговля на дальние расстояния ацтекской группы почтеков[14] в Центральной Америке (до завоевания) отчасти характеризуется схожими чертами.

То, что природа создавала различным, рынки делают одинаковым. Могут быть сглажены даже различия между товарами и их транспортировкой, поскольку и то и другое может быть куплено и продано на рынке: одно — на товарном, другое — на грузовом и рынке страхования. И в том, и в другом случае есть спрос и предложение, цены складываются сходным образом. Транспортировка и сами товары — эти составляющие элементы торговли — получают единое выражение в терминах издержек. Следовательно, чрезмерное внимание к рынку и его искусственной однородности ведет к построению скорее хорошей экономической теории, нежели хорошей экономической истории. В конце концов мы обнаружим,

[13] Seisachtheia — декрет, отменяющий часть долгов и направленный на облегчение положения известных слоев населения. — *Прим. пер.*

[14] Для осуществления политической и экономической власти на огромной территории империи Теночтитлан существовали два способа. Первый — завоевание территории воинами mexicas, назначение наместника и сбор дани каждые 20 или 80 дней. Второй способ — развитая сеть шпионов-коммерсантов (pochtecas). Арест почтека расценивался империей как провоцирование военных действий, и тогда вводились войска, территория облагалась данью. Таким образом, организованная система Pochtecayotl позволяла ацтекам контролировать огромную территорию. — *Прим. пер.*

что торговые пути, равно как и средства транспортировки, могут иметь ничуть не меньшее значение для институциональных форм торговли, чем типы перевозимых товаров. Ведь во всех этих случаях географические и технологические условия переплетаются с социальной структурой общества.

Принимая тезис о том, что торговля — это двусторонний процесс, мы можем выделить три ее типа: торговля как обмен дарами, централизованная торговля и рыночная торговля.

Торговля как обмен дарами (gift trade) связывает партнеров отношениями реципрокности; такие отношения возникают между гостями-друзьями, партнерами по куле, имеют место на пирах, которыми сопровождались гостевые поездки. Более тысячелетия торговля между империями осуществлялась как обмен дарами, и никакая другая форма двусторонности не отвечала бы лучше требованиям того времени. Организация торговли тогда, как правило, сопровождалась особым церемониалом, предполагавшим участие обеих сторон, посольств, политические переговоры между вождями и королями. Товары были сокровищем, предметами, предназначенными для элиты. Связанные с гостевыми поездками пиры занимали промежуточное положение, обстановка на них могла быть более демократичной. Однако контакты такого рода были скудными, акты обмена — немногочисленными и далеко отстоящими друг от друга во времени.

Централизованная торговля (administered trade) строится на отношениях, имеющих в своей основе более или менее формальные соглашения. Поскольку движущей силой для обеих сторон здесь выступает, как правило, заинтересованность в импорте, то торговля направляется по каналам, контролируемым правительством. Обычно и торговля на экспорт организована подобным образом. В результате вся торговля осуществляется административными методами. Это касается также организации бизнеса, в том числе правил относительно пропорций, в каких обмениваются товары, портовых услуг, взвешивания, проверки качества, физического обмена товаров, складирования, хранения, контроля за торговым персоналом, регулирования выплат, кредитов, дифференциации цен. Некоторые из этих моментов естественным образом связаны со сбором товаров на экспорт и размещением импорта; оба направления относятся к перераспределительной сфере национального хозяйства. Товары, предназначенные для взаимного импорта, стандартизованы в отношении качества и упаковки, веса и других легко устанавливаемых параметров. Только такие

товары могут участвовать в торговле. Пропорции задаются теми или иными простыми единицами. В принципе, все акты торговли здесь идентичны.

Все эти процедуры не предполагают обсуждения и торга; пропорции задаются единожды и распространяются на всех. Однако необходимости подстраиваться под меняющиеся обстоятельства избежать нельзя, и поэтому по поводу ряда условий, *за исключением цены*, практикуется торг. Он затрагивает способы измерения товара и оценки его качества, выбор средства платежа. Возможны бесконечные споры относительно качества продуктов питания, веса задействованного груза, валютных курсов, если в одной сделке используются разные валюты. Часто возникает торг даже по поводу прибыли. Разумеется, все это происходит для того, чтобы сохранить неизменные цены. Если, например, в экстренном случае необходимо приспособить цены к реальной ситуации в сфере поставок, это называется торговлей «два к одному» или «два с половиной к одному», то есть, как бы мы сказали, со 100-процентной или 150-процентной прибылью. Этот метод торга по поводу прибыли при стабильных ценах, достаточно распространенный в древнем обществе, использовался в Центральном Судане вплоть до XIX века.

Централизованная торговля предполагает наличие относительно постоянных торговых учреждений — правительств или в крайнем случае компаний, наделенных соответствующими полномочиями. С правителями своей страны отношения строятся на неформальной основе, как и в случае традиционных отношений. Однако на межгосударственном уровне торговля предполагала формальные соглашения даже в относительно ранние периоды второго тысячелетия до нашей эры.

Административные формы торговли, будучи однажды основаны в том или ином регионе под священной защитой богов, могут использоваться без какого бы то ни было предварительного соглашения. Как уже становится ясно, основной институт здесь — это торговый порт как место централизованной международной торговли. Торговый порт обеспечивает военную защиту жителям внутренней части страны, гражданскую защиту иностранным торговцам, условия для якорной стоянки, разгрузки и складирования, вознаграждение законной власти, соглашение по поводу пропорций обмена разных товаров, продаваемых в комбинации с другими товарами.

Рыночная торговля (market trade) – третья типичная форма торговли. Формой интеграции, связывающей партнеров друг с другом, здесь выступает обмен. Этот относительно современный вариант торговли просто заполонил материальными богатствами Западную Европу и Северную Америку. Хотя и не столь активно как раньше, этот вариант торговли по-прежнему остается наиболее важным. Спектр предметов, подлежащих торговле (то есть товаров), практически неограничен, и организация рыночной торговли следует по пути, очерченному механизмом «спрос – предложение – цена». Рыночный механизм применим к огромному числу ситуаций, так как его можно использовать для обращения не только с товарами, но и вообще с каждым отдельным элементом торговли (хранением, транспортировкой, оценкой риска, кредитом, платежами и т.п.) путем формирования особых рынков – грузовых, страхования, краткосрочных кредитов, капитала, складских помещений, банковских услуг и т.д.

Основной интерес экономического историка ныне смещается в сторону следующих вопросов: когда и каким образом торговля оказалась связанной с рынками? когда и где мы можем обнаружить общий результат этого процесса – рыночную торговлю?

Осталось сказать, что такие вопросы снимаются формально логическими рассуждениями, в которых торговля и рынок сливаются в одно неделимое целое.

2. *Использование денег*

Согласно формальному определению, деньги – это средство опосредованного обмена (indirect exchange). Современные деньги используют для платежей, а также в качестве некоего стандарта именно потому, что они являются средством обмена. Таким образом, современные деньги универсальны (all-purpose). Какое-либо иное использование денег – это лишь несущественные вариации их функционирования как средства обмена. При этом все способы использования денег зависят от существования рынков.

По своему содержательному определению деньги, как и торговля, не зависят от рынков. Это определение строится на конкретных способах использования объектов, поддающихся количественному измерению. Таким способом является их применение в качестве средства платежа, обмена и общего стандарта (меры стоимости). Следовательно, деньги определяются здесь как поддающиеся количественному измерению объекты, которые можно использовать од-

ним или сразу несколькими способами. Вопрос заключается в том, можно ли определить каждый из этих способов использования денег независимо друг от друга.

Определения различных способов использования денег содержат два критерия: выраженную в социологических терминах *ситуацию*, в которой используются деньги, и *действия (операции)*, осуществляемые в этой ситуации с денежными объектами.

Платежи — это выполнение обязательств, в результате чего поддающиеся количественному измерению объекты (quantifiable objects) меняют своих владельцев. Такая ситуация относится не только к какому-то одному типу обязательств, но к нескольким из них, ибо, строго говоря, деньги — это средство платежа, только если объект используется для выполнения более чем одного обязательства (в противном случае обязательство, которое может быть покрыто натуральным продуктом, именно так и выполняется).

Использование денег в качестве средства платежа первоначально было наиболее распространенным способом их применения. Обязательства отнюдь не всегда возникают только в результате трансакций. В нестратифицированном примитивном обществе платежи регулярно производились в связи с существованием институтов выкупа невесты, денежной компенсации за убийство или нанесение иного ущерба. Эти платежи существовали затем и в древнем обществе, однако их вытеснили привычные пошлины, налоги, рента и подати, которые и заложили основы выплат в более крупных масштабах.

Использование денег в качестве стандарта, то есть расчетного средства (accounting use of money), означает соотнесение между собой некоторого количества различных типов товаров, предназначенных для определенных целей. Ситуация здесь представляет собой товарообмен или хранение товаров и распоряжение ими (management of staples). Действие же, или операция, заключается в том, что к различным объектам прикрепляются ценники, призванные облегчить операции с этими объектами. Таким образом, в случае с бартером можно подсчитать, сколько объектов товарообмена накопилось в конечном итоге у одного из его участников; в случае с распоряжением продуктами есть возможность планировать, сверять счета, составлять бюджет, а также вести общий бухгалтерский учет.

Использование денег в качестве стандарта необходимо для обеспечения эластичности перераспределительной системы. Можно сказать, что уравнивание таких продуктов, как, например, ячмень, масло и шерсть, в форме которых выплачиваются налоги и рен-

та или могут быть выданы пособия (ration) либо зарплата, имеет огромное значение, поскольку оно обеспечивает возможность выбора между различными продуктами как для плательщика, так и для того, кто на этот платеж претендует. В то же время создаются предпосылки для крупномасштабного финансирования натурой, что предполагает наличие представления о ресурсах и счетах, иными словами, о взаимозаменяемости продуктов.

Использование денег как средства обмена возникает из потребности в объектах, поддающихся количественному измерению, с целью их использования для опосредованного обмена. Операция здесь состоит в приобретении некоторого количества таких объектов посредством прямого обмена, что позволит приобрести желанные предметы в результате последующего акта обмена. Иногда объекты, выполняющие функцию денег, имеются с самого начала, и тогда двухэтапный обмен производится для того, чтобы заполучить большее количество тех же самых объектов. Подобное использование исчисляемых объектов происходит не в силу случайных актов товарообмена (как это представлялось представителями рационализма XVIII века), а сопряжено с организованной торговлей, в первую очередь — рыночной. Использование денег как средства обмена вне рынков — не более чем подчиненный культурный элемент. Возможной причиной непонятного, на первый взгляд, нежелания известных народов-торговцев древности (таких как жители Тира и Карфагена) ввести в обращение монеты — новую форму денег, столь удобную для обмена, — было то, что торговые порты этих империй были организованы не как рынки, а именно как порты торговли (ports of trade).

Следует отметить два дополнительных значения денег. Первое распространяет понятие с физических предметов на единицы идеального мира. Второе значение наряду с тремя конвенциональными способами использования денег предполагает и их использование как расчетных инструментов (operational devices).

Единицы идеального мира — это просто словесные или письменные символы, задействованные главным образом в качестве средства платежа или некоего стандарта, как если бы речь шла об объектах, поддающихся количественному измерению. Операция предполагает манипуляции с долговыми расписками (debt accounts) согласно неким правилам. Подобные расписки — обычное явление в жизни примитивных общин. В то же время в противовес распространенному мнению они отнюдь не являются чем-то удивительным для денежных хозяйств. Ранние храмовые хозяй-

ства Месопотамии и ассирийские торговцы практиковали клиринговые расчеты без вовлечения в этот процесс денег как физических объектов.

Стоит обратить внимание и на использование денег как расчетных инструментов, хотя в целом это исключение из правил. Время от времени денежные единицы использовались в древнем обществе для осуществления арифметических, статистических и налоговых расчетов, для административных и других неденежных нужд, связанных с хозяйственной жизнью. В XVIII веке деньги в виде раковин каури использовались народностью вуди для ведения статистического учета, а бобы дамба (никогда не выступавшие в качестве денег) выполняли функцию золотого стандарта и в этой своей роли искусно применялись как средство расчетов.

Как мы показали, в Древнем мире деньги имели целевой характер (special-purpose money). Для выполнения ими различных ролей применялись разные объекты; более того, каждый способ использования денег был институционально оформлен независимо от другого. Это привело к самым серьезным последствиям. Например, нет никакого противоречия в том, чтобы для осуществления платежа использовать средство, с помощью которого нельзя ничего купить, или же в том, чтобы в качестве стандарта служили объекты, которые не используются как средство обмена. В Вавилоне во время правления Хаммурапи роль средства платежа играл ячмень, серебро служило универсальным стандартом, для весьма немногочисленных актов обмена использовалось и то и другое наряду с маслом, шерстью и некоторыми другими продуктами. Становится ясным, почему способы использования денег, как и деятельность в сфере торговли, могут достигать почти неограниченного уровня развития, причем не только за пределами рыночных хозяйств, но и при отсутствии рынков.

3. Элементы рынка

Обратимся теперь к собственно рынку. Согласно формальному определению, рынок — это место обмена (locus of exchange). Рынок и обмен взаимопроникают друг в друга (co-extensive), поскольку при таком постулировании хозяйственная жизнь, во-первых, сводится к актам обмена, на которые воздействуют споры и торги, и, во-вторых, воплощена в рынках. Таким образом, обмен описывается как *подлинные* хозяйственные отношения, а рынок — как *подлин-*

ный хозяйственный институт. Такое определение рынка логически вытекает из формальных предпосылок.

С содержательной точки зрения рынок и обмен обладают собственными, независимыми друг от друга эмпирическими характеристиками. Каково же значение обмена и рынка согласно этому определению? В какой степени они действительно связаны?

Определяемый с содержательных позиций обмен — это двустороннее движение товаров от одного владельца к другому с целью их присвоения. Как мы показали, подобное движение может происходить по фиксированным ставкам или становиться предметом обсуждения. Во втором случае это результат торга между партнерами.

Таким образом, там, где есть обмен, всегда есть и ставка (rate) — фиксированная или обговариваемая. Следует отметить, что обмен при обговариваемых ценах (bargained prices) тождествен обмену с формальной точки зрения, или обмену как форме интеграции. Сам по себе этот тип обмена, как правило, ограничен конкретным типом рыночного института — ценообразующими рынками.

Рыночные институты следует определить как институты, включающие сферу предложения и (или) сферу спроса. Эти сферы, в свою очередь, мы определяем как множество субъектов, желающих приобрести товары, вовлеченные в процесс обмена, или, напротив, избавиться от них. Хотя рыночные институты в результате оказываются институтами обмена, рынок и обмен *не* являются неразрывно связанными. Обмен по фиксированным ставкам происходит при реципрокной или перераспределительной форме интеграции; обмен по обговариваемым ставкам, как мы уже говорили, ограничивается сферой ценообразующих рынков. Может показаться парадоксальным, что обмен по фиксированным ставкам возможен при любой форме интеграции, кроме собственно обмена. И тем не менее это совершенно логичный вывод, ибо только обмен по обговариваемым (не фиксированным) ставкам является обменом в формальном значении, то есть в том, в каком он и выступает в качестве формы интеграции.

Представляется, что лучше всего подходить к миру рыночных институтов через анализ элементов рынка (market elements). В конечном счете это послужит не только своего рода ориентиром при анализе разнообразных конфигураций, охватываемых понятием рынков и институтов рыночного типа, но и инструментом, который позволит выявить традиционные представления, препятствующие нашему пониманию этих институтов.

Следует особо выделить два элемента рынка: сферу предложения и сферу спроса (supply crowds and demand crowds). Если присутствует хотя бы один из этих элементов, мы можем говорить о рыночном институте (если имеются оба элемента, мы называем ситуацию рынком, если только один из них — институт рыночного типа). Следующий по значимости элемент — тип эквивалентности (equivalency), то есть пропорция обмена. В зависимости от типа эквивалентности рынки делятся на рынки с фиксированными ценами и ценообразующие рынки.

Еще одной характеристикой некоторых рыночных институтов (например, ценообразующих рынков и аукционов) является конкуренция. Однако в отличие от эквивалентности как элемента рынка экономическая конкуренция не выходит за пределы рынков. Наконец, есть также элементы, которые можно назвать функциональными. Они регулярно возникают вне рыночных институтов, однако по мере своего появления в сферах спроса или предложения выстраивают эти институты способами, которые могут иметь большое практическое значение. К таким функциональным элементам можно отнести физическое месторасположение, имеющиеся товары, обычай и закон.

Открытию разнообразия рыночных институтов до последнего времени препятствовало формальное понимание механизма «спрос — предложение — цена». Неудивительно, что подход с содержательной точки зрения ведет к существенному расширению наших представлений относительно таких ключевых терминов, как спрос, предложение и цена.

Выше мы назвали сферы спроса и предложения особыми самостоятельными элементами рынка. Конечно же, это утверждение недопустимо в отношении современного рынка: здесь есть уровень цен, при котором субъекты, играющие на понижение, начинают играть на повышение («медведи» превращаются в «быков»), и другой уровень цен, при котором ситуация становится обратной. В силу этого многие упустили из виду то, что покупатели и продавцы независимы друг от друга повсюду, кроме современного типа рынка. В свою очередь, это привело к двойному заблуждению. Во-первых, спрос и предложение представлялись как сочетание элементарных сил, в то время как и то и другое, по сути, состоит из двух совершенно разных компонентов — количества *товаров*, с одной стороны, и числа *лиц*, выполняющих по отношению к этим товарам роль покупателей или продавцов, — с другой. Во-вторых, спрос и предложение казались неразрывно связанными друг с другом, подоб-

но сиамским близнецам, в то время как на самом деле речь идет о различных группах людей, образованных в зависимости от того, заняты они реализацией товаров-ресурсов или же, напротив, стремятся их приобрести. Значит, спрос и предложение не обязательно существуют бок о бок. Например, когда на аукционе трофеи генерала-победителя отдают человеку, предложившему наивысшую цену, мы говорим только о сфере спроса; аналогично мы говорим только о предложении, если имеется в виду заключение контрактов по самой низкой цене. Тем не менее аукционы и распродажи военных трофеев были распространены еще в Древнем мире, а в Древней Греции аукционы выступали предшественниками собственно рынков. Подобное различение сфер спроса и предложения свойственно организации всех предшествовавших современности рыночных институтов.

Что касается элемента рынка, который обычно называется ценой, то здесь он относится к категории эквивалентов. Использование этого общего термина должно избавить нас от искаженного его понимания. Цена предполагает колебания, в то время как эквивалент лишен такого качества. Само понятие «установленные» или «фиксированные» цены предполагает, что цена, прежде чем стать фиксированной или установленной, подвержена изменениям. Таким образом, сам язык затрудняет понимание истинного положения вещей, а именно того, что изначально цена — это некоторое жестко зафиксированное количество, без которого невозможно начать торговлю. Изменения или колебания цен, обусловленные конкуренцией, появились сравнительно недавно, и факт их возникновения является одним из основных вопросов, интересующих экономическую историю античности. Традиционно предполагалось, что последовательность обратная: цена считалась результатом торговли и обмена, а уж никак не их предпосылкой.

Цена обозначает количественное соотношение разнородных товаров, достигаемое в результате бартера или торга; это форма эквивалента, свойственная хозяйствам, интегрированным на основе обмена. Однако действие эквивалентов ни в коем случае не ограничивается отношениями обмена. Эквиваленты распространены и при перераспределительной форме интеграции. Они обозначают количественные соотношения разнородных товаров, которые могут быть приняты для уплаты налогов, ренты, пошлины, штрафов или используются для квалификации того или иного гражданского статуса, основанного на владении собственностью. Эквивалент может также определять долю в продукте заработной платы

или выплат натурой — по выбору того, кто эти выплаты производит. Гибкость финансовой системы — планирование, ведение счетов, бухгалтерия — держится именно на этом. Эквивалент здесь указывает не то, что следует дать за другой товар, а то, что можно потребовать *вместо* него. Опять же при реципрокной форме интеграции эквивалент определяет то количество, которое адекватно по отношению к симметрично расположенному участнику обмена. Очевидно, что этот бихевиористский контекст отличен и от обмена, и от перераспределения.

По мере своего развития во времени ценовые системы могут включать группы эквивалентов, исторически возникших на основе разных форм интеграции. Есть множество доказательств того, что древнегреческие рыночные цены возникли на основе перераспределительных эквивалентов более ранней ассирийской цивилизации. Тридцать сребреников, полученных Иудой за предательство Иисуса, весьма близки к сумме, эквивалентной цене раба в Кодексе Хаммурапи примерно за 1700 лет до этого. С другой стороны, советские перераспределительные эквиваленты длительное время являлись отражением мировых рыночных цен XIX века. У тех, в свою очередь, были собственные предшественники. Макс Вебер отмечал, что западный капитализм был бы невозможен в силу отсутствия системы расчетов, если бы не средневековая сеть установленных и регулируемых цен, представления о нормальном объеме ренты и т.д., иными словами, если бы не наследие средневековых гильдий и феодальных поместий. Таким образом, системы цен могут иметь собственную институциональную историю с точки зрения типов эквивалентов, участвовавших в их становлении.

Такие фундаментальные проблемы экономической и социальной теории, как происхождение ценовых колебаний и развитие рыночной торговли, лучше всего анализировать при помощи содержательных (noncatallactic) понятий торговли, денег и рынков, и, смеем надеяться, нам удалось это показать.

И в качестве заключения. Критический обзор формальных определений торговли, денег и рынка должен вооружить нас понятиями, которые образуют первичный материал для анализа хозяйственной жизни социальными науками. Влияние этого подхода на вопросы теории, на формирование политики и более широких взглядов следует рассматривать в свете постепенной институциональной трансформации, начавшейся после Первой мировой войны. Даже в отношении самой рыночной системы использование модели рынка как единственной аналитической схемы уже несколь-

ко устарело. И следует понимать — быть может, более отчетливо, чем это порою понималось до сих пор, — что рынок останется универсальной схемой анализа, пока социальным наукам не удастся выработать более общую аналитическую схему, в которой он будет лишь составной частью. Именно это и является ныне нашей основной интеллектуальной задачей в области экономических исследований. Как мы попытались показать, подобная концептуальная структура должна основываться на содержательном значении экономического.

Литература

Herskovits M. The Economic Life of Primitive Peoples. New York: A. A. Knopf, 1940.

Herskovits M. Economic Anthropology: A Study in Comparative Economics. New York: A. A. Knopf, 1952.

Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. London: Macmillan, 1932.

К. ПОЛАНЬИ, К. М. АРЕНСБЕРГ, Г. У. ПИРСОН

МЕСТО ЭКОНОМИКИ В ОБЩЕСТВЕ[1]

Мало кто из ученых-обществоведов сегодня в целом принимает бесхитростное представление эпохи Просвещения о «чистом» человеке, который [якобы] ведет свои дела ради собственной свободы и обменивает свои товары где-нибудь в джунглях, чтобы сформировать свое общество и экономику. Открытия, совершенные О. Контом, К. Марксом, Э. Мейном, М. Вебером, Б. Малиновским, Э. Дюркгеймом и З. Фрейдом, способствовали росту наших знаний о том, что социальный процесс — это ткань взаимоотношений между человеком как биологическим целым и уникальной структурой символов и методов, которые приводят к сохранению его существования.

Но если в этом смысле мы открыли реальность общества, то новые знания не дали видения общества, сравнимого по популярности с традиционной картиной атомистического индивидуализма. Очень важными идеями, которые тормозят наше мышление, остаются ранние рационалистические интерпретации человека как утилитарного атома. И нигде этот пробел не является более очевидным, нежели в наших идеях, касающихся экономики. Занимаясь анализом экономики в любом комплексе аспектов, социальный экономист всегда встречает помеху со стороны интеллектуального наследия, предписывающего рассматривать человека как самостоятельного индивида с присущей ему склонностью к мене, бартеру и обмену одного предмета на другой. Это так и остается [общепризнанным стереотипом], несмотря на все протесты против экономического человека и возобновляющиеся попытки осознать социальные рамки для экономики.

Экономический рационализм, которому мы являемся наследниками, кладет в основу доводов тип действия по преимуществу экономический. В этой перспективе актор — одинокий человек, семья,

[1] Karl Polanyi, Conrad M. Arensberg and Harry W. Pearson, "The Place of Economics in Society", in K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds.), *Trade and Markets in Early Empires.* New York: Free Press, 1957, p. 239–242. Перевод Н. А. Розинской.

все общество – рассматривается как стоящий перед лицом природного окружения, которое не торопится уступить ему свои жизнедающие элементы. Экономическое действие, основа рациональности, рассматривается тогда как способ распоряжаться временем и энергией таким образом, чтобы из этого взаимоотношения человека и природы удалось бы достигнуть максимума целей. И экономика становится местом расположения такого действия. Конечно, признается, что в действительности на функционирование этой экономики многими путями влияют другие виды деятельности неэкономического (политического, военного, артистического или религиозного) характера. Но утилитарная рациональность остается в качестве основной модели экономики.

Этот взгляд на экономику как на место действий, связанных с распределением, сбережениями, рыночными избытками и формированием цен, вырос из западной среды XVIII века. Он, несомненно, пригоден для институциональных устройств рыночной системы, поскольку фактические условия здесь в определенной степени удовлетворяют условиям, установленным экономистическим постулатом.

Но позволяет ли нам этот постулат делать заключение о всеобщности рыночной системы как эмпирическом факте? Претензия формальной экономической теории на исторически универсальную приемлемость отвечает на этот вопрос положительно. Это означает фактическое присутствие рыночной экономики в любом обществе, будь эта система эмпирически наличествующей или же нет. Вся человеческая экономика могла бы в таком случае рассматриваться в качестве потенциального механизма предложение – спрос – цена, а фактические процессы, какими бы они ни были, объяснялись бы в рамках данного механизма.

Если эмпирическое расследование может изменить наше понимание основных операций и положения различных форм экономики в разных обществах, то нам следует испытать этот экономический постулат на соответствие [эмпирическим фактам].

Приближаясь к экономическому процессу с точки зрения преимущества новых знаний, которые мы получили относительно реальности общества, следует сказать, что обязательного соответствия между экономизирующими действиями[2] и эмпирической эко-

[2] Используемые в тексте термины «экономизирующие», «экономизирование» и т.д. произведены от economistic – «присущий экономической науке». – *Прим. пер.*

номикой нет. Институциональная структура экономики не всегда должна вызывать, как это бывает с рыночной системой, экономизирующие действия.

Осложнения, вызываемые таким положением дел для всех общественных наук, которые должны иметь дело с экономикой, едва могли бы быть более далеко идущими. Требуется ни много ни мало фундаментально иной отправной момент для анализа человеческой экономики как социального процесса.

В поисках нового начала мы отворачиваемся от экономизирования к субстантивному значению термина «экономический», хотя он не моден. Это делается не для того, чтобы игнорировать популярное использование слова «экономический», которое объединяет экономизирование с материальностью. Это совершается просто для того, чтобы расширить ограниченное применение этого объединения с точки зрения здравого смысла. Если только человек не имеет пищи, чтобы есть, он должен умирать от голода, будь он рациональным или нет. Но его безопасность, даже, если на то пошло, его образование, искусство и религия также требуют материальных средств, оружия, школ, храмов, изготовленных из дерева, камня или стали. Конечно, это был факт, на который всегда обращали внимание. Снова и снова провозглашалось, что экономика должна основываться на огромном разнообразии материальных средств удовлетворения человеческих потребностей — его потребностях, с одной стороны, и средствах удовлетворения его потребностей, будь они материальными или нет, с другой стороны.

Как единодушно признают эксперты, все попытки создания такой натуралистической концепции экономики оставались безуспешными. Причина этому проста. Ни одна простая натуралистическая концепция экономики не может даже приблизительно конкурировать с экономическим анализом при объяснении механизма приспособления к жизненным нуждам при рыночной системе. И поскольку экономика в общем и целом была приравнена к рыночной системе, эти наивные попытки заменить экономический анализ натуралистической схемой оставались просто дискредитированными.

Но было ли это заключительным аргументом против использования субстантивной концепции экономики в социальных науках? Вовсе нет. Было обращено внимание на то, что экономическая теория (экономический анализ) является лишь одной из нескольких дисциплин, которые занимаются проблемами, связанными с жизненными средствами человека, с материальной точки зрения, то

есть с точки зрения экономики. Практически же экономическая теория есть не что иное, как изучение рыночных явлений. Помимо простейших обобщений, ее обращение к другим — не только рыночным — системам (например, к плановой экономике) является ничтожным.

Что она может дать, скажем, антропологу, чтобы помочь вычленить экономику из общей ткани общества, обусловленной системой родства? В отсутствие рынков и рыночных цен экономист не может быть полезным для того, кто занимается изучением примитивных экономик. В действительности он может даже помешать ему. Или возьмите социолога, перед которым стоит вопрос об изменении места, занимаемого экономикой, в обществе как целом. Если только мы не будем ограничиваться временами и регионами, где существуют ценообразующие рынки, экономическая теория не может помочь ему ориентироваться в отношении любой ценности. Это еще более так, когда речь идет об историке, который изучает экономическую историю вне этой тоненькой полоски нескольких столетий, в течение которых ценообразующие рынки и, соответственно, деньги как средство обмена стали всеобщими.

Предыстория, ранняя история и вообще, как первым провозгласил Карл Бюхер, вся история, за исключением тех нескольких столетий, имела экономику, организация которой отличалась от того, что предполагал экономист. А разница, как мы теперь начинаем осознавать, может быть сведена к одному единственному моменту: они не обладали системой ценообразующих рынков.

При всем разнообразии экономических дисциплин точка общего интереса устанавливается процессом, посредством которого обеспечивается материальное удовлетворение потребностей. Локализирование этого процесса и исследование хода его действия может быть достигнуто только путем смещения акцента с рационального типа действия на конфигурацию товаров и движений человека, что фактически и делает экономику.

Переместиться в естественной науке с одной концептуальной схемы на другую — это одно; проделать это же в общественных науках — совершенно другое. Это все равно что переконструировать дом, фундамент, стены, проводки и все остальное, одновременно продолжая жить в нем. Мы должны избавиться от стереотипа, что экономика является тем полем деятельности, где бытие обязательно определяет сознание. Если воспользоваться метафорой, элементы экономики были первоначально погружены в определенные сферы, которые сами по себе не носили экономический характер.

И ни цели, и ни средства их функционирования не были первично материальными. Кристаллизация концепции экономики явилась делом времени и истории. Но ни время, ни история не обеспечили нас теми концептуальными инструментами, которые требуются для того, чтобы проникнуть в лабиринт социальных взаимоотношений, в которые встроена экономика. Это та самая задача, которую мы здесь назовем институциональным анализом.

ПРИЛОЖЕНИЕ[3]

В настоящем материале имеются несколько указаний на то, почему так важно ограничить использование термина «экономический» по отношению к «представлению материального удовлетворения потребностей» и применять формальное значение слова «экономический».

Наш главный интерес, связанный с изучением общей экономической истории, — это вопрос о месте экономической системы в обществе. В этой связи возникают несколько важных вопросов. И если только значение термина «экономический» применяется в отношении этих вопросов не нейтрально, то мы находимся перед опасностью преждевременно судить о них.

На вопрос о месте экономических институтов в обществе ответом может быть то, что такие институты имеют отдельное и явно выраженное существование, как это бывает при рыночной системе, или, наоборот, что они, как правило, погружены в другие, неэкономические институты, или что-то среднее между этими двумя суждениями.

Допустим, что мы используем термин «экономический», чтобы обозначить приносящий выгоду способ поведения людей в рыночных условиях. Тогда их поведение при решении экономических проблем в примитивных и архаичных экономиках должно неизбежно представиться в качестве какой-то формы рыночного поведения.

Например, Мюллер-Лиер (Mueller-Lyer), социолог и автор «истории социального развития», писал в 1920 году по поводу примитивных экономик: «Коммерция во многих диких обществах принимает форму взаимного обмена гостевыми дарами. Бизнес-обмен неизве-

[3] Это приложение является неопубликованным при жизни автора меморандумом, который К. Поланьи написал в 1947 году и распространил в виде мимеографических заметок среди своих студентов на курсах экономической истории в Колумбийском университете.

стен». К этому он добавил: «Гостевой дар являлся остатком бартера, после того как истинное его значение было утеряно» [с. 161]. Это суждение является классическим примером вытеснения анализа реального отношения [предвзятой] концепцией, основанной на факте. Факт — это институт гостевых даров. Схема рынка наложена на факт с помощью простого предложения о том, будто первоначально дикари начали с бартера, а затем продолжали поступать подобным образом в силу привычки до тех пор, пока они не потеряли всякие воспоминания о своей первоначальной практике. В результате получается, что взаимные дары делаются для того, чтобы совершать нечто противоположное, а именно бартерные сделки (то есть безденежный рыночный обмен).

Другой пример взят из области экономического анализа. Рыночное определение слова «экономический» может привести к тому, что вся экономическая деятельность рассматривается в качестве бартера и обмена.

Архиепископ Уатели (Whately) (1787–1863), экономист викторианской эпохи, утверждал, что экономикой должна называться наука об обмене, или каталлактика (catallactics). Это утверждение было подхвачено в наши дни Йозефом Шумпетером и Людвигом фон Мизесом. В таком случае производство может быть целесообразно представлено как обмен менее предпочтительных благ на более предпочтительные блага при использовании ограниченных средств. Для специалиста по экономической истории очевидно, что перевод слова «производство» в термин «обмен» будет хуже, чем просто бесполезным, поскольку он сделает невозможным обнаружить, до какой степени институт рынка был или не был существенным в конкретном обществе. Ведь [при такой подмене понятий] мы видим рынки и обмен повсюду. Это именно то, что произошло с некоторыми из наших самых знаменитых историков экономики.

Другой аспект вопроса — это актуальные психологические мотивы, на основе которых индивидуум участвует в экономических институтах в различное время и в различных местах. И снова этот вопрос бессмысленен, если только термин «экономический» не использован в нейтральном значении. Если термин «экономический» создан для того, чтобы обозначать «приносящий доход», то тогда, по определению, экономические институты работают с целью получения доходов. Вопрос, касающийся фактических мотивов, получает ответ заранее, или, скорее, он не возникает.

Еще один вопрос относится к возможным законам развития в отношении экономических институтов. Есть ли что-нибудь в харак-

тере законов, что касается экономического прогресса? Если так, то насколько глубоко это касается возрастающей экономической рациональности, в смысле эффективности? Как далеко это зашло в деле совершенствования экономических институтов по отношению к неэкономическим институтам в обществе при конкретных технологических условиях? Трудный вопрос, к ответу на который простого подхода быть не может.

Суммирую. Проблема анализа экономической системы в обществе влечет за собой ряд важных вопросов, таких как выделенность или встроенность этих институтов; фактические психологические мотивы, из-за которых индивидуумы участвуют в работе этих институтов. Важнейшие вопросы такого порядка подвергаются опасности быть предварительно решенными, если только термин «экономический» не используется просто для обозначения «предоставления материальных средств для удовлетворения потребностей».

СЕМАНТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕГ [1]

Мы склонны думать о деньгах в узком смысле слова в связи с тем, что деньги в рыночной экономике используются прежде всего в качестве средства обмена. Ни один предмет не является по существу деньгами, но любой предмет при соответствующих обстоятельствах может функционировать в качестве денег. Поистине деньги — это система символов, сродни языку, письменности или весам и мерам. Все перечисленные знаковые системы отличаются одна от другой в основном целями, которым они служат, самими символами и уровнем отражения некой единой цели.

ПСЕВДОФИЛОСОФСКИЕ ТЕОРИИ ДЕНЕГ

Деньги — это система с неполной унификацией; поиск одной цели использования денег ведет в тупик. Этим объясняются многие бесполезные попытки определить «природу и смысл» денег. Мы должны довольствоваться перечислением целей использования количественно исчислимых предметов, обычно называемых деньгами. Эти цели возникают из описания *ситуации*, в которой мы используем данные предметы, и анализа результата этого использования. Мы обнаруживаем, что они называются деньгами тогда, когда они используются либо для оплаты, либо в качестве меры стоимости, либо в качестве средства обмена. Человеческая жизнь, конечно, складывается независимо от представления о деньгах, как и действия, совершаемые с этими количественно измеримыми предметами, описываются определенными терминами независимо от нашего представления о них. Процесс оплаты приводит к появлению обязательств, а использование количественно измеримых предметов (денег) позволяет погасить эти обязательства. Если деньги рассматривать в качестве знака (меры) стоимости, то они представляют собой ярлык, где зафиксирован количественный параметр, он прикре-

[1] Karl Polanyi, "The Semantics of Money Uses", in G. Dalton (ed.), *Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi.* Boston: Beacon Press, 1968, p. 175–203. Перевод Н. А. Розинской.

плен к товарным единицам различного вида. Или же в случае бартерного обмена мы можем уравновесить обе стороны, участвующие в товарообмене, увеличивая цены либо планируя и распределяя запасы основных товаров, используя таким образом товары в качестве денег. Наконец, деньги можно также использовать как количество неких предметов для обмена, то есть приобретать их для того, чтобы приобретать другие предметы посредством дальнейшего акта обмена. Предметы, которые непосредственно участвуют в обмене, самим этим участием приобретают характер денег. Они становятся символами при определенных социальных условиях.

Здесь мы игнорируем ряд серьезных соображений. Первое: игнорируется отличие между знаком и тем, что он представляет. Любая функция, которую выполняют деньги, формирует часть системы символов. Поэтому не проводится никакой разницы между деньгами из ячменя, деньгами из золота или бумажными деньгами. Одной из частых причин неправильного понимания феномена денег является смешение понятий денег и символов денег. Символы (знаки) как таковые не являются чем-то новым — это фетиш, возникающий из способности людей мыслить абстрактно. В хорошо известном рассказе Геродота о принудительной проституции в храмах Вавилона есть такая подробность: «Серебряная монета может быть любого размера: от нее нельзя отказаться из-за того, что она запрещена законом, но, раз уж она пущена в оборот, она становится священной». Это относится и к простым знакам, неизвестным в примитивных обществах, описанных нашими этнографами. Некий народ в Конго использует просто как символ соломенные маты или ткань из травы, которая вначале делалась квадратной формы, но постепенно свелась к пучку соломы, практически не имеющему никакой цены. В некоторых частях Западного Судана символическими деньгами считались полоски голубой ткани стандартной ширины, которые со временем становились бесполезными тряпками. Но когда появились на свет бумажные деньги, ученые, однако, почувствовали потребность направить внимание на символы, а не на сами физические предметы. Этот способ в модернизированном виде сохранился и по сей день. В последней выдающейся работе этнографом госпожой Куиггин[2] символические деньги названы «истинными деньгами»; соответственно истинными названы предметы, которые описываются как «заменители денег».

Историки античных времен оказались не менее чувствительными к современным исследованиям проблемы денег. Начиная с III тыся-

[2] Quiggin A. H. A Survey of Primitive Money. L.: Methuen and Co., 1949. Ed.

челетия в Вавилоне не было бумажных денег, а в качестве обычного материала для монет ученые называют металл, хотя на самом деле все платежи производились зерном. Бруно Мейснер, исследователь Древней Ассирии, так описал этот процесс: «Вначале деньги заменялись зерном». Его коллега Лутц высказывал мысль, что нехватка серебра «заставила использовать заменитель. Так, зерно зачастую занимало место металлов». На протяжении долгого времени символические деньги выступают в качестве истинных денег, поскольку они абстрактные и наименее полезные; затем в качестве замены выступают золото и серебро, в их отсутствие подойдет даже зерно. Происходит постоянное повторение именно этой неверной последовательности: здесь предметы физически возникают в качестве денег. Все же существование символов денег не должно вызывать осложнений: в денежной системе это само собой разумеется. Если бумажные деньги, рассматриваемые в качестве символа, представляют монеты, то тогда, согласно нашей терминологии, они символизируют то, что уже является символом, а именно деньги. Символы не просто что-то представляют. Они являются материальными, словесными, визуальными или воображаемыми знаками, которые формируют часть определенной ситуации, в которой они принимают участие: таким образом, они приобретают значение и свою сущность.

Во-вторых, подобное же невнимание к смыслу экономической теории навязывается нам при выборе терминов, описывающих различное использование денег. Средство платежа, мера стоимости и средство обмена — вот определения, первоначально данные деньгам классиками экономической теории. Отсюда — вывод некоторых антропологов о том, что классики относились к примитивным деньгам с некоторым предубеждением. Ближе к истине было бы обратное. Фактически современные экономические системы совершенно не полагаются в своих денежных теориях на такие определения. Архаичное общество, напротив, демонстрирует институциональную организацию, где использование количественно измеримых предметов происходит именно в этих трех формах.

МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ДЕНЬГИ И ДЕНЬГИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С позиций формальной логики современные деньги, в противоположность примитивным, демонстрируют яркое сходство как с языком, так и с письменностью. Все они обладают единой грамматикой. Все три знаковые системы организованы согласно сложному

своду правил использования символов, причем общие правила распространяются на все эти символы. Архаичное общество не знало денег, пригодных для всех целей. Здесь различные предметы могут быть по-разному использованы в качестве денег. Следовательно, не существует такой «грамматики», которой должны были бы подчиняться все способы использования денег. Ни один вид предметов не заслуживает называться деньгами, скорее, термин относится к небольшой группе предметов, каждый из которой мог бы служить в качестве денег, но только одним, своим особым образом. В современном обществе деньги, используемые в качестве средства обмена, наделены способностью осуществлять и все другие функции; в примитивном обществе, скорее, все наоборот. При этом в качестве символа денег рассматривают рабов, или лошадей, или крупный рогатый скот — в случаях передачи крупного размера богатства, в то время как такой символ денег, как ракушки каури, используется для расчета маленьких сумм. (В конце концов, платеж в виде раба или лошади может выступать в качестве условной стоимости, представляющей всего-навсего единицу счета, сами же рабы и лошади фактически продаются по иным ценам.) Мы можем также обнаружить, что реальные рабы являются средством платежа дани иностранному сюзерену, а ракушки каури выступают в качестве внутринационального средства платежа или даже в качестве средства обмена. Все это может не исключать также использования драгоценных металлов для накопления богатства, однако эти же металлы не выступают в качестве собственно денег, за исключением, пожалуй, меры платежа и в обмен на импортируемые товары. В тех регионах, где рыночные институты оказываются достаточно развитыми, деньги могут, кроме того, выступать и в качестве средства обмена. Для этой цели могут использоваться некоторые предметы, которые в других случаях не выступают в качестве денег. В жизни имеют место разнообразные комбинации подобных вариантов. Ни одно правило не является универсальным, кроме одного не очень большого и тем не менее значимого правила: в качестве денег используются различные предметы — они выполняют различные функции для разных целей.

Ни в одном языке не известна подобная фрагментация использования звуков. В речи артикуляции подвергаются все произносимые звуки. При написании все буквы алфавита годятся для всех типов слов, в то время как в качестве архаических денег, в чрезвычайных ситуациях, используют один предмет как средство платежа, другой — как меру стоимости, третий — как средство накопления богатства,

а четвертый — как средство обмена, подобно тому, как в языке глаголы состояли бы из одной группы букв, существительные — из другой, прилагательные — из третьей, а наречия — из четвертой.

Более того, в первобытном обществе обмен (коммерческий) не представляет основы для использования денег. Если что-то является более значимым, то, скорее, будет использоваться для некоммерческих платежей или в качестве меры стоимости. Такие принципы имеют место даже там, где обменная функция денег не практикуется. Соответственно, если в современном обществе унификация различных видов использования денег происходила на основе использования их в качестве средства обмена, то в ранних обществах мы обнаруживаем, что разные виды использования денег развиваются независимо друг от друга. До тех пор пока эти функции оказываются разделенными, мы видим, что использование денег в качестве средства платежа, или в качестве меры стоимости, или для сохранения и накопления богатства развиваются раньше функции средства обмена. Таким образом, деньги в XIX веке представляют собой символы обмена, они используются для различных целей и выступают почти в полной аналогии с языком и письменностью, где звуки и знаки являются до некоторой степени универсальными деньгами. Эта аналогия относится также и к первобытным и архаичным деньгам, которые отличаются от современных денег только тем, что для них эти функции унифицированы в меньшей степени. Однако со второй четверти XX века, начиная с периода нацистской Германии, современные деньги начинают демонстрировать определенные тенденции деунификации. При Гитлере существовало полдюжины видов марок, каждая из которых ограничивалась определенным видом использования[3].

ОБМЕННЫЕ ДЕНЬГИ

«Деньги — это средство обмена». Это выражение принадлежит к числу самых сильных предубеждений в области современной мысли. Многие экономисты полагают, что данное высказывание не требует доказательств и распространяется на весь ход истории человечества. Эта мысль наиболее полно выражена в следующей цитате: «В любой

[3] О роли денег в советской экономике см.: Gregory Grossman. Gold and the Sword: Money in the Soviet Command Economy // H. Rosovsky (ed.). Industrialization in Two Systems: Essay in Honour of Alexander Gershenkron. N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 1966.

экономической системе, какой бы примитивной она ни была, только физический объект может рассматриваться в качестве истинных денег». Профессор Раймонд Фирт (R. Firth) утверждает: «Когда они действуют в качестве определенного и общепринятого средства обмена, в качестве удобного средства для получения одного типа предметов в обмен на другой. Однако, выполняя эту функцию, они выступают в качестве меры стоимости таким образом, чтобы стоимость всех других предметов (изделий) измерялась деньгами. Далее. Деньги — это мера стоимости (идет ли речь о прошлых или будущих платежах), в то время как, будучи средством накопления и сохранения стоимости, они позволяют накапливать и сохранять богатство» [Валюта первобытная // Энциклопедия Британника. 14-е изд.].

В соответствии с этим все еще бытующим мнением, быть средством обмена — важнейшая функция денег, причем не только в современном, но и в первобытном обществе. Даже при первобытных условиях различные способы использования денег принимаются как неразделимые. Соответственно, в качестве денег могут рассматриваться только те предметы, которые поддаются счету. Их функциональная задача — быть средством платежа, мерой стоимости или средством хранения и накопления богатства — не является решающей для их бытия в качестве денег, если только эта функция не подразумевает использовать их в качестве средства обмена. Поскольку именно эта функция денег логическим образом объединяет всю систему, то она обеспечивает постоянную связь различных функций денег между собой. Без этого истинных денег быть не может. Мы должны признаться, что такой модернистский подход к проблеме является причиной того, почему суть первобытных денег продолжает оставаться неясной.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА ПЛАТЕЖА

Платеж представляет собой выполнение обязательства посредством передачи количественно измеримых предметов, которые в этот момент функционируют в качестве денег. Связь платежей с деньгами и обязательств с экономическими сделками представляется современному мышлению само собой разумеющейся. Однако то, что мы называем мерой стоимости и связываем с платежом (деньгами), действовало уже в то время, когда выполнение обязательств было не связано с экономическими сделками. История начинается с сопоставления платежа с наказанием (санкцией), с одной стороны, и обязательства с виной — с другой. Но не следует

рассматривать их развитие в соответствии с неким единым принципом. Скорее, обязательства могут иметь происхождение, отличное от вины и преступления, например ухаживание и брак. Наказания (или санкции) могут возникнуть из необрядовых источников, таких как престиж и превосходство: в таком случае конечный платеж с его дополнительным, сопутствующим количественным значением не является наказанием (санкцией) как таковым.

В действительности гражданское законодательство следовало за уголовным, а уголовное законодательство — за обрядовым правом. Платеж принимался независимо от источника: от виновного, грязного, нечистого, слабого и того, кто занимает в обществе самую нижнюю ступеньку; он полагался богам и их наместникам на земле, высокочтимым, чистым и сильным. Соответственно, наказание (санкция) было направлено на уменьшение власти, святости, престижа, статуса или богатства платящего, не останавливаясь на его физическом разрушении.

Дозаконные обязательства возникают в основном из обычаев только в случае невыполнения обязательств. Но даже и в этом случае восстановление равновесия не требует привлечения платежа. Обязательства же, как правило, специфичны, и их выполнение является качественным действием. С этих позиций в платеже отсутствует важнейшая черта — количественный характер. Нарушение обрядовых и социальных обязательств, будь то в отношении бога, племени, родных, тотема, деревни, возрастной группы, касты, гильдии, подлежит исправлению не посредством платежа, а путем совершения действия нужного *качества.* Ухаживание, брак, уклонение от обязательств, танцы, пение, украшение себя одеждой, совершение поста, стенание, терзание или даже самоубийство — все это может совершиться при выполнении обязательства, но по перечисленным причинам эти действия еще не есть платежи.

Специфической характеристикой денег в качестве средства платежа является определение количества. Наказание (санкция) приближается по сути к платежу тогда, когда процесс избавления от вины можно исчислить количественно, например когда удары кнутом, вращение молитвенного *барабана* или дни поста избавляют от наказания. Но, хотя теперь искупление наказания превратилось в обязательство платить, правонарушение искупается не путем лишения себя количественно исчисляемых предметов, а в основном утратой личных качественных ценностей, обрядового или социального статуса.

Использование денег для целей платежа связывается с экономикой тогда, когда предметы, используемые лицом, имеющим обяза-

тельства, оказываются физическими исчислимыми предметами, такими, например, как жертвенные животные, рабы, декоративные ракушки или меры продовольственной продукции. Обязательства могут по-прежнему не иметь характера сделки, как, скажем, уплата штрафа, композиции[4], налог, дань, преподнесение и получение даров в ответ, оказание почтения богам, предкам или умершим. Однако уже здесь возникает большое различие: раз получатель приобретает то, что теряет плательщик, то результат этой операции укладывается в концепцию законного платежа.

Конечным намерением обязательства оплатить может оставаться задача уменьшить власть и статус плательщика. В архаичном обществе чрезмерный по величине штраф не только делал жертву банкротом, но и лишал ее политического статуса. В течение длительного времени власть и статус сохраняли свое превосходство над экономическим богатством как таковым. Политическая и социальная значимость накопленного богатства в этих условиях состояла в способности богатого человека произвести крупный платеж без подрыва своего статуса. (Таково положение дел в архаичных демократических обществах, в которых политические санкции принимают форму огромных штрафов.) Богатство приобретает огромную политическую значимость, о чем свидетельствуют памятные записи Тусидидеса (Thucydides) в «Археологии» (Archeology). Теперь богатство непосредственно превращается во власть. Богатство – самоподдерживающийся институт. Богатый человек обладает властью и почетом, он получает платежи: дары и сборы сыпятся на его голову, не требуя от него применения силы. Все же его богатство, используемое им в качестве фонда для подношений, обеспечивает его достаточной властью, чтобы он мог поступать именно так.

Как только деньги установились в обществе в качестве средства обмена, практика оплаты стала распространяться вширь и вглубь. Это объясняется тем, что с появлением рынков в качестве физического места, где совершается обмен, на главную арену в качестве законного «наследника» сделок выходит новый тип обязательства. Платеж выступает в качестве дубликата некоего материального преимущества, полученного в результате сделки. В прежнее время человека заставляли платить налоги, ренту, штрафы или деньги, полученные свидетелем на дачу показаний, поддержавших обвинение

[4] В данном контексте «композиция» (composition) означает платеж за соглашение окончить военные действия. Oxford Concise Dictionary.

в преступлении, караемом смертной казнью. Теперь же он платит за товары, которые покупает. Теперь деньги являются средством оплаты именно потому, что они – средство обмена. Представление о независимом происхождении платежа стирается, забыты те тысячелетия, во время которых он возник не из экономических сделок, а непосредственно из религиозных, социальных или политических обязательств.

НАКОПЛЕНИЕ ДЕНЕГ И ХРАНЕНИЕ БОГАТСТВА

В основе использования денег в качестве средства накопления богатства лежит необходимость производить платежи. Платеж по своей сути не является экономическим явлением, так же как и богатство. В раннем обществе богатство состояло в основном из сокровищ, что опять же представляет собой социальную категорию, оно уже не обеспечивает физического существования. Функция денег как богатства, обеспечивающего физическое существование (так же, как и суть платежа), проистекает из частоты, с которой богатство накапливается в виде крупного рогатого скота, рабов и продуктов длительного хранения и постоянного потребления. И то, что способствует накоплению богатства, и то, что выплачивается из него, приобретает затем значение, связанное с накоплением средств, необходимых для существования. Эти действия продолжают быть ограниченными, так как платежи не связаны со сделками на основе экономической деятельности. Это истинно как для богатых, которые владеют накопленным богатством, так и для тех, кто пополняет это богатство своими платежами. Тот, который владеет богатством, может платить штрафы, композиции (выкупы), налоги и т.п., платежи для обрядовых, политических и социальных целей. Платежи, которые богатый получает от подвластных ему людей, какое бы высокое или низкое положение они ни занимали, выплачивают ему налоги, ренту, приносят подношения. Истоки эти платежей заключаются не в сделках, а в социальных и политических отношениях, начиная от простой благодарности за защиту или восхищение одаренной милостью и заканчивая желанием отогнать страх порабощения и смерти. Нельзя отрицать, что, как только возникли обменные деньги, они стали использоваться в качестве богатства. Но, как и в случае со средством платежа, важны количественные исчисления предметов и предшествующее использование предметов в качестве средства обмена.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕГ В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ СТОИМОСТИ

Деньги как мера стоимости более тесно связаны с деньгами в качестве средства обмена, чем средства платежа или накопления. Бартер и хранение массовых запасов продовольствия являются двумя разными источниками, из которых возникает потребность в мере стоимости. На первый взгляд, обе эти функции имеют между собой мало общего. Первая близка к сделке, вторая — к управлению и распоряжению. И все же ни одна из них не может эффективно выполняться при отсутствии некой меры стоимости. Ну, например, каким другим способом, кроме как с помощью расчета, участок земли мог бы участвовать в натуральном обмене на коляску, упряжь для лошадей, осла, упряжь для осла, быков, масла, одежду и прочие мелкие предметы? При отсутствии средств обмена расчет хорошо известного случая бартера в Древнем Вавилоне выглядел следующим образом. Земля оценивалась в 816 шекелей серебра. В то время как предметы, отданные в обмен, оценивались в шекелях серебра следующим образом: коляска — 100,6, упряжь для лошадей — 300, осел — 130, упряжь для осла — 50, бык — 30, остальная сумма распределялась по мелким позициям.

Этот же принцип применялся и при отсутствии обмена при управлении запасами огромного дворца и храмов. Их хранитель распоряжался продуктами первой необходимости, что требовало сравнительной оценки важности (ценности) этих товаров с различных сторон. Отсюда — известное правило бухгалтерского учета: «одна единица серебра = одной единице ячменя» на стеле Манистусу, а также в Законах Эшнунны.

Данные исследователей говорят о том, что использование денег в качестве средства обмена не может не вызвать к жизни других видов использования денег. Напротив, каждая функция денег — для платежа, хранения и бухгалтерских (учетных) нужд — имела собственное происхождение, и они были узаконены независимо одна от другой.

ЭЛИТНЫЙ КРУГООБОРОТ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МАССОВЫХ ПРОДУКТОВ

Представляется абсурдным факт, что можно заплатить деньгами, которые нельзя использовать при покупке. И тем не менее утверждается, что деньги не использовались в качестве средства обмена, хотя и применялись как средство платежа. Два института ранне-

го общества дают частичное объяснение этому факту: хранение сокровищ и использование продуктов первой необходимости в качестве средства обмена. Сокровища, как мы видим, должны быть отделены из других форм накопленного богатства. Разница заключается в основном в их отношении к средствам существования. Если толковать этот термин правильно, то сокровища формируются из престижных предметов, включая ценности и церемониальные предметы, само владение которыми придает их держателю вес в обществе, власть и влияние. Иными словами, особенность сокровища состоит в том, что как их выдача, так и их получение служат росту престижа: оно функционирует примущественно ради товарооборота, что является главной целью их использования. Даже когда продовольствие считается сокровищем, оно может переходить из рук в руки, как бы абсурдно это ни казалось по отношению к средствам существования. Но продовольствие редко выступает в качестве сокровищ, поскольку пользующееся успехом продовольствие, как, например, забитые свиньи, не подлежит хранению, а то продовольствие, которое может долго храниться, например ячмень или масло, не представляет интереса в качестве сокровищ. С другой стороны, драгоценные металлы, которые почти повсеместно ценятся в качестве сокровищ, не могут быть мгновенно обменены на товары первой необходимости, так как помимо таких исключительно золотоносных регионов, как, скажем, Золотой Берег или Лидия, демонстрация золота обычными людьми являлась оскорбительной.

Тем не менее сокровища, как и другие источники власти, могут быть крайне важны с экономической точки зрения, поскольку богам, королям и начальникам предоставляются услуги их подчиненных, что косвенно обеспечивало для них питание, сырье, услуги рабочих в широком масштабе. В конечном итоге эта власть, проистекающая из косвенного владения, может давать важные преимущества в отношении налогообложения, а она возникает, конечно, благодаря возросшему влиянию, приобретаемому владельцем сокровища над своим племенем или народом.

Все это справедливо независимо от того, состоит ли сокровище из количественно исчислимых единиц или нет. И если это так, то операции с сокровищами могут способствовать возникновению функций, по характеру связанных с финансами. В Древней Греции, к примеру, тот, кто владел сокровищами, пользовался ими для того, чтобы получить расположение богов, начальников или других политически влиятельных лиц. Они создавали из золота и серебра традиционные подношения, например треножники или ча-

ши. Но это не превращало треножники в деньги, потому что только благодаря этой особой форме они могли быть использованы в качестве либо средства платежа, либо средства обмена. Сделки, связанные с финансированием из сокровищ, были ограничены подношениями богам и начальникам. Если некоторые предметы и действия могли быть оплачены сокровищами, то было очень много других предметов и действий, которые нельзя купить с их помощью.

Хранение богатства в качестве института примитивной экономики начинается со сбора и хранения *продуктов первой необходимости*. Хотя сокровища и финансирование из сокровищ не принадлежат, как правило, к примитивной экономике, хранение продуктов (предметов) первой необходимости представляет накопление продуктов — средств существования, которые обычно используются затем в качестве средства для осуществления платежа. Раз продукты первой необходимости хранятся в большом объеме в храмах, дворцах или поместьях, то они также должны и использоваться соответствующим образом. Так, финансирование из сокровища заменяется финансированием из хранилищ продуктов (предметов) первой необходимости.

Большая часть архаичных обществ использует продукты (предметы) первой необходимости в финансовой системе. Именно в рамках запланированного перемещения и приумножения продуктов первой необходимости, хранящихся в огромных масштабах, были впервые разработаны счетные устройства (счеты), которые характеризовали перераспределительные экономики древних империй в течение длительных периодов времени. Но только значительно позже, после внедрения монетных денег в Греции — около шести столетий до нашей эры, денежное финансирование заняло главенствующее положение в этих империях по сравнению с использованием для этой цели продуктов (предметов) первой необходимости в качестве денег. Мы, в частности, знаем это из истории Римской республики. Тем не менее даже позднее, в Египте эпохи Птолемеев, продолжалась традиция использования продовольствия в качестве денег, однако именно Египет сделал систему финансов несравнимо ни с чем эффективной.

Перераспределение как форма интеграции в примитивных сообществах зачастую сопряжено с хранением товаров в центре, где они распределяются и выбывают из оборота. Продовольствие, поступающее в центр в качестве оплаты, выбывает затем оттуда и потребляется. В таком центре содержания создаются средства для армии, бюрократии и рабочей силы; продовольствие здесь выступа-

ет в качеств выплат заработной платы, солдатского жалования или в других формах. На служителей храмов приходится значительная часть выплат, производимых в пользу храма в натуральном выражении. Сырье и материалы требуются для содержания и оснащения армии, общественных работ и правительственного экспорта; шерсть и ткань также экспортируются; ячмень, масло, вино, финики, чеснок, и т.д. распределяются и потребляются. Таким образом, средства платежа уничтожаются. Возможно, что некоторые из них в конечном итоге частным образом используются получателями для последующего бартера. Здесь начинается вторичный оборот, который может даже превратиться в основную движущую пружину развития местных рынков, не нарушая при этом перераспределительной экономики. Однако до сих пор не появилось каких-либо реальных свидетельств существования подобных рынков. Существование сокровищ и хранилищ продуктов первой необходимости при обсуждении вопроса об использовании денег объясняет функционирование различных форм использования денег при отсутствии рыночной системы.

Предметы, относящиеся к сокровищам, если они могут быть исчислены, могут использоваться для совершения платежей. Все же такие элитные предметы, как правило, не обмениваются и не могут быть использованы для покупки, разве что для приобретения некоторых атрибутов обрядовой деятельности и иностранной политики. Значительно более крупный сектор платежей касается, естественно, товаров, являющихся средствами существования. Когда продукты используют для выполнения обязательств, то есть для оплаты, они хранятся в центре, откуда поступают в обращение, возвращаются через перераспределительный платеж и в конце концов потребляются.

Итак, сокровищница и продукты первой необходимости, хранящиеся в центре, если брать оба этих явления вместе, дают принципиальный ответ на основную проблему раннего общества, в котором деньги в качестве средства платежа оказываются независимыми от использования денег в качестве средства обмена. Отсутствие денег как средства обмена в империях, сформировавшихся вокруг крупных ирригационных систем, способствовало развитию одного из видов банковского механизма. Фактически управляющие крупных хозяйств, использовавшие продукты первой необходимости в качестве денег, применяли этот механизм для того, чтобы облегчить передачу и взаимный расчет натуральными продуктами. Здесь можно добавить, что подобные методы применялись жрецами наи-

более крупных храмов. Таким образом, был впервые разработан механизм взаимного расчета (клиринг), книги записи таких передач трансфертов, непереводные векселя, причем эти расчеты применялись не как средство расходов в традиционной денежной экономике, а, напротив, как административные приемы, сконструированные для того, чтобы сделать эффективным именно бартер. И поэтому разработка рыночных методов была никому не нужна.

ВАВИЛОН И ДАГОМЕЯ

Что касается организации денежной системы, то экономика Вавилона времен царя Хаммурапи, несмотря на сложное экономическое управление и непростые виды хозяйственной практики, была типично примитивной, поскольку дифференциация денежных объектов была твердо установлена. При многих важных ограничениях в деталях можно сделать следующее обобщение: рента, заработная плата и налоги оплачиваются ячменем, в то время как общепринятой мерой стоимости было серебро. Вся система управлялась согласно правилу бухгалтерского учета, непоколебимо базирующемуся на уравнении «1 шекель серебра = 1 гур ячменя». При постоянном повышении средней урожайности земли (что должно быть связано с проведением широкомасштабных ирригационных работ) вес гура ячменя увеличивался, что подтверждалось торжественной клятвой. Употребление серебра в качестве меры стоимости и денежной единицы в огромной степени облегчало бартерный обмен. Подобным же образом повсеместное использование ячменя в качестве средства платежа внутри страны сделало возможной и саму централизованную систему хранения, на которой основывалась перераспределительная экономика страны.

Создается впечатление, что все важные продукты, которые можно было хранить в центральных храмах, функционировали до некоторой степени в качестве средств обмена, что не давало ни одному из этих продуктов возможности получить статус денег (как противовес товарам). Эта идея может быть также выражена в следующих выражениях: «практиковалась сложная система бартера, которая была основана на функции серебра в качестве единиц счета денег», «использование ячменя в качестве средства платежа», при этом же определенное количество продуктов первой необходимости, таких как масло, шерсть, финики, кирпичи и т.д., использовались в качестве средств обмена. К числу таких продуктов следует отнести ячмень и серебро, причем принимались меры к тому, чтобы не допу-

стить тот или иной продукт выступить в качестве предпочтительного средства обмена, или, как мы теперь можем сказать, в качестве денег. В качестве средств хранения богатства деньги выступили в форме монет, скопления драгоценных металлов в казначействах дворцов и храмов, а также (что было по сравнению с другими методами наиболее эффективным) соблюдались строгие законодательные положения в отношении документации, сопровождавшей сделки. Как представляется, важным моментом было ограничение формальных сделок купли-продажи специфическими продуктами, такими как участки земли, определенное число голов крупного рогатого скота, отдельные рабы, лодка — все эти предметы имели свои названия. Что касается продуктов первой необходимости или взаимозаменяемых товаров — ячменя, масла, шерсти или фиников, то на протяжении тысячелетней истории клинописи не сохранилось никакой документации об обмене одного продукта на другой.

В XVIII веке в очень небольшом масштабе появилось указание на существование денежной системы в африканском королевстве Дагомеи. Эта система ненамного отличалась от тех систем, которые существовали в Вавилоне. Ракушки каури применялись в качестве внутренней валюты во всех четырех функциях, но когда шла речь о мере стоимости, то ракушки заменялись рабами, которые служили в качестве счетных денег для выплат более крупных сумм. Соответственно, состояние богатого человека, таможенные выплаты с иностранных кораблей королю Дагомеи, дань иностранным правителям — все это исчислялось (но только в последнем случае оплачивалось) в виде рабов. Рабы не служили здесь в качестве средства обмена, как это было в регионах Хауса. В последнем случае ракушки каури заменялись золотой пылью, которая часто использовалась в торговых портах и при прочих контактах с иностранцами. Что касается функции сохранения богатства, то использовались не только ракушки каури, но и рабы. Уместно вспомнить Вавилон, где правило ведения бухгалтерского учета, которое лежало в основе системы, включало уравнение между рабами и ракушками каури, что, как кажется, было делом общественного договора. Это же относилось и к экспортной цене рабов, исчислявшейся в унциях золотого песка.

ТОРГОВЫЕ ПОРТЫ В РАННИХ ОБЩЕСТВАХ [1]

I

Данное исследование имеет своей целью подтвердить глобальное распространение экономического института, которому мы ранее из-за отсутствия лучшего термина дали название «торговый порт»[2].

До наступления современных времен, как это представляется, типичным органом заморской торговли была организация, способная обеспечивать безопасность торговли в условиях ранней государственности. Общее возникновение ценообразовательных рынков должно рассматриваться как более позднее явление, характеризуемое конкуренцией групп покупателей и продавцов, деятельность которых управлялась рыночными ценами. В торговом (правительственном) порту ситуация была иной — администрирование превалировало над экономической процедурой конкуренции.

Торговля между примитивными сообществами, будь то экспедиционная торговля, торговля дарами, церемониальные встречи на побережье или какая-либо другая торговля от имени вождя, возможна лишь при обеспечении безопасности перевозки товаров на далекое расстояние в неохраняемых зонах. В пустыне, в горах и в открытом море воровство и пиратство были общепринятыми нормами. На суше кража лошадей или детей — риск, неизбежный для незнакомца; прибрежные районы подвергались угрозе со сто-

[1] Karl Polanyi, "Ports of Trade in Early Societies", *Journal of Economic History*, vol. 23, no. 1, March 1963, p. 30–45. Статья о торговых портах как форме организации торговли в ранних обществах является одной из самых последних работ, вышедших из-под пера Карла Поланьи. Перевод Н. А. Розинской с некоторыми сокращениями.

[2] См.: Polanyi K., Arensberg Conrad M., Pearson Harry W. Trade and Markets in Early Empires. Glencoe, IL: Free Press, 1957. Ch. II–IV, VII–IX.

роны моря и тыла. Торговый порт был поэтому необходим для организации нейтральной зоны.

Архаическая особенность торговли заключалась в том, что она осуществлялась по установленным ценам и при помощи административных средств. Туземные обитатели предоставляли помощь для посредничества и ведения бухгалтерского учета, в то время как конкуренция из сделок устранялась. Там, где она присутствовала, конкуренция сводилась до уровня фона или же просто маячила где-то на задворках.

Торговые порты существовали во многих регионах: на северном побережье Сирии (со II тысячелетия до нашей эры), в некоторых греческих городах-государствах Малой Азии и Черного моря (в I тысячелетии до нашей эры), в негритянских королевствах Вайда и (позже) Дагомеи, на берегу Верхней Гвинеи и Анголы, на побережье Нижней Гвинеи, в районе цивилизаций ацтеков и майя в Мексиканском заливе, в Индийском океане на Малабарском побережье, в Мадрасе, Калькутте, Рангуне, Бирме, Коломбо, Ботавии, а также в Китае.

Таким образом, мы видим торговый порт универсальным институтом заморской торговли, предшествующим установлению международных рынков. Он располагается, как правило, в прибрежных районах или на берегах рек, где небольшие бухты или обширные лагуны облегчали перевозку по суше. Родственный институт, однако, мог быть также найден глубоко на суше, на границе двух экологических районов, таких как высокогорье и долина, но особенно часто на границе пустыни, этом двойнике моря. Караванные города Пальмиры и Петры, Каракумов, Исфагана и Кандагара — о них можно сказать, что они попадают в категорию квазиторговых портов.

Если задаться вопросами о происхождении и развитии торгового порта, то он предстает пред нами в целом ряде форм, варьирующихся так же широко, как это происходит с рыночными институтами, для которых (в исторической ретроспективе) торговый порт мог быть функциональной альтернативой. Действительно, рынки сильно разнятся между собой: рынок в Африке отличается от Нью-Йоркской биржи, а международный рынок капитала, фрахта и страхования — от рынка рабов на американском Юге век тому назад.

Среди торговых мест, находящихся на побережье у рек, особого упоминания заслуживает древневавилонский kar. Был ли это действительно конкурентоспособный рынок или административный торговый порт? Эти два вида деятельности — административное регулирование и система ценообразующих рынков — являются взаим-

но несовместимыми, хотя некоторые из их элементов могут смешиваться между собой. От ответа на вопрос о характере вавилонского кара могут зависеть важнейшие вопросы датирования развития цивилизаций древности.

Призыв к администрированию в экономической области представляется многим отказом от рациональности, поскольку, как учил Макс Вебер, поведение рынка должно рассматриваться как образец рациональности. Великий ассириолог Пауль Кошакер показал в своих работах согласие с таким подходом[3]. Для него полноценная рыночная экономика есть сплетение контрактов или сделок, которое соткано из рациональных актов. Административные акты, однако, не обеспечивали равенства при обмене, так как такие акты были результатом силы, а не свободного контракта. Кошакер почти в одиночку создал учение о законах ведения сделок в Вавилонии. В 1942 году он опубликовал доклад о правительственно-администрируемой экономике Ларсы, посвятив его в основном доходу дворца от рыбы. Весьма неохотно он признался в своей неспособности дать твердую интерпретацию текстов о том, как заключались сделки между дворцом и тамкарумом. Кошакер справедливо предполагал, что так называемый tamkarum, или тамкар (этот термин традиционно переводился как «частный купец»), был фактически «правительственным торговым чиновником, государственным банкиром».

Как представляется, ситуации не хватало рационализма. По крайней мере частично торговля была результатом административных решений, а не свободного обмена, на котором должна базироваться рыночная система. Цены на рыбу Ларсы, как и цены на шерсть Сиппары (Sippar), были, скорее всего, устанавливаемыми государством, как это и утверждал сам П. Кошакер. Но одновременно он заявлял, что «в Старовавилонский период мы должны предполагать существование полностью развитой системы рыночного обмена, причем такого, при котором были зарегистрированы колебания цен». П. Кошакер полагал, что это с несомненностью подтверждалось многими терминами, которые использовались для того, чтобы описать цены. Разрешение этого парадокса было в его руках. Разнообразные ситуации с ценами, которые волновали его, вовсе не были окончательным доказательством «полностью развитой системы рыночного обмена», поскольку они могли соответ-

[3] Koschaker P. Zur staatlichen Wirtshaftsververwaltung in altbabylonischer Zeit, insbesondere nach Urkunden in Larsa // Zeitschrift fur Assyriologie. Bd. 13. 1942.

ствовать господствующей административной экономике, такой как экономика США в начале Нового Курса или современная советская экономика.

В данной статье на материалах с античных времен и до современной эры затрагиваются прежде всего два примера деятельности торговых портов — прибрежные города Северной Сирии и греческий emporium в двух разных значениях этого слова (первое — это открытый К. Леманном-Хартлебеном доисторический emporium, второе — это коммерческая гавань прибрежного города классической Греции, который вышел из доисторических времен и был характерным типом греческих морских портов)[4]. Из более поздних времен речь пойдет о городах, расположенных около лагун в Мексике времен ацтеков и майя, на Гвинейском побережье Западной Африки, а также на Малабарском побережье Индии, — все это в эпоху до европейского завоевания. К этому списку добавляется вавилонский kar, характер которого как торгового порта, о чем я уже говорил ранее, довольно противоречив.

II

Ал-Мина (Al-Mina) и Угарит (Ugarit) на берегу Северной Сирии могут считаться одними из самых ранних торговых портов Средиземноморья. Ал-Мина был расположен примерно в сорока милях к северу от Угарита по болотистому тракту, недалеко от маленького, удаленного вглубь страны королевства Алалакх. Сам Ал-Мина лежал в устье Оронта, он представляется маленьким самостоятельным княжеством. Оба прибрежных города служили источниками импорта для империй внутренней части страны. Возможно, что вавилоняне на востоке и хетты на севере стремились к тому, чтобы сохранять Ал-Мина нейтральным. Египет на юге ощущал то же по отношению к Угариту. Они поддерживали дружественные отношения с этими маленькими королевствами, от нейтрального положения которых зависел мирный подход к портам. Раскопки Угарита, произведенные французской экспедицией Кл. Шеффер, и Ал-Мина — британской группой археологов сэра Леонарда Вули, дали доказательства существования складских помещений близко от пляжа.

История свидетельствует о довольно независимом существовании этих торговых портов. Почти тысячелетие спустя их соседи

[4] Lehmann-Hartleben K. Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres. Leipzig, 1923.

к югу, финикийские порты Сидон и Тир, заменили Угарит и Ал-Мина в качестве торговых портов.

Леманн-Хартлебен увидел в описанной Геродотом «безмолвной торговле» объяснение происхождения доисторического emporia, археологические остатки которого он обнаружил на побережье Средиземного моря. Карфагеняне, согласно Геродоту, занимались бессловесным бартером с туземцами африканского побережья, обменивая свои товары на золото. Осторожность заставляла стороны периодически встречаться в местечке около пляжа, оставляя на берегу какое-то количество товаров и золота. Когда обе стороны оставались удовлетворенными предложенным ей количеством товаров, то они удалялись с найденными покупками, так никогда и не встретив своих торговых партнеров лицом к лицу. Леманн-Хартлебен нашел остатки полузакрытых мест, отделенных от моря низкой каменной стеной. Сама эта низкая стена не представляла защиты против нападения, она просто-напросто указывала зону, на которую распространялась защита. В этом значении, предложенном Леманном-Хартлебеном, термин emporium используется для обозначения места встречи торговцев, расположенного вне ворот города, а возможно, и на необитаемом берегу.

Термину, происходящему от доисторического emporium`a в классической Греции, позже было придано другое значение — части или сектора прибрежного города, где велась иностранная коммерция. Отдаленный от остальной части города, он имел свою собственную гавань, набережную, складские помещения, постоялый двор для моряков, административные здания. Как правило, классический emporium имел свой собственный рынок продовольственных товаров[5].

Памятники, близко напоминающие эмпориумы Леманна-Хартлебена с их полукругом низкой каменной стены, находящиеся около реки, озера или моря, обнаружены в более позднее время и в Северной Европе. Известны три подобных центра: Дурштеде в дельте Рейна, Хайхабу на реке Шли в Восточном Шлезвиге и Бирка на озере Малар около Стокгольма. Они заслуженно приписываются странствующим торговцам, которые сооружали такие стены для защиты своих встреч с другими караванами заморских торговцев, перевозивших товары из Центральной и Восточной Европы, возможно даже из таких далеких мест, как Южная Россия или Ближний Восток, включая Иран. Тот факт, что несколько полукру-

[5] Использование слова «эмпориум» для обозначения большого торгового центра имеет еще более позднее происхождение.

глых стен-зон неподалеку от берега или водных путей были найдены в Северной Европе, должен рассматриваться как доказательство того, что emporium Леманна-Хартлебена, хорошо известный для Средиземноморья, не был уникален лишь для этого региона.

В связи с нынешним значением слова «порт», используемым для обозначения гавани, следует вспомнить концепцию Анри Пиренна. Хорошо известно, что возрождение европейских городов в XI–XII веках приписывалось им так называемым портусам (portus — место, через которое провозят товары), развивавшимся вокруг городов Северо-Западной Франции и Южной Фландрии. Речь идет о поселениях торговцев в окрестностях города, но вне городских стен. Само слово portus произошло от латинского portare и обозначало перевозку или перегрузку там, где товары хранились и охранялись, что и давало торговцам возможность селиться в этих местах. Такие места были в основном расположены на водных путях и примыкали к городам, вне которых торговцы находили пристанище для спасения от зимы. Эти поселения торговцев были сочтены Пиренном способствующими в конечном итоге росту города, как бы он ни назывался — бург или сити.

Эти густонаселенные поселения имели очень мало общего, если такое вообще было, с эмпориумом, в котором никто не жил. Отличаются они и от торгового порта: портус Пиренна был населен заезжими купцами, в то время как наш торговый порт населен туземцами, а не иностранцами.

III

Во время доколониальной эры именно торговые порты, а не рыночные места были главными точками мировой экономики.

Знаменитый доклад Анне М. Чепман о Мезоамерике до европейского завоевания[6], насколько мы знаем, является единственным докладом об этом большом географическом регионе, в котором вплотную друг к другу размещались мелкие торговые порты. Между двумя соседствующими торговыми мезоамериканскимим империями ацтеков и майя существовал огромный участок внутренних водных путей, населенный сообществами племен. В этом регионе дюжины деревень разрослись в торговые порты. Торговцы встречались там для заключения деловых сделок.

[6] Chapman A. M. Port of Trade enclaves in Aztec and Maya Civilization // Trade and Markets in Early Empires. P. 114–153.

Таким образом, мезоамериканские торговые порты играли жизненно важную роль в коммерции ацтеков и майя. Тесная сеть водных путей (реки, озера и лагуны Мексиканского залива) были местами встречи признанных торговцев на дальние расстояния — мексиканских почека (pochteca) и майянских поломов (ppolom). Хорошо известен, например, порт Шикаланго. Эта территория была с политической точки зрения нейтральной благодаря объединенным интересам властей северо-востока (майя) и северо-запада (ацтеков). Преимущество этого региона состояло в изобилии водных путей. Торговый порт был оснащен складскими помещениями и навесами. Население было искусным в переноске товаров и обращении с ними. Помимо прекрасных транспортных средств здесь имелись также плантации, на которых выращивались какаобобы, используемые в процессе торговли на длинные дистанции как временные деньги, и все иностранцы желали заполучить их. Прибрежная зона была вся усыпана племенными деревнями, названия которых зарегистрированы на испанских картах XVI века. Эти мелкомасштабные торговые порты, как правило, не располагали рыночными площадями, а служили просто в качестве мест хранения товаров и встречи торговцев на длинные расстояния. После испанского завоевания политические организационные центры торговли на длинные расстояния были разрушены, и торговые порты исчезли.

На западно-африканском побережье Гвинеи более чем век спустя появился торговый порт, который получил мировую известность: это порт работорговли Вида.

Переходя к доколониальной Азии, мы видим множество высокоразвитых торговых портов на Малабарском побережье в Индии и в других частях Индийского океана. Огромное большинство их было независимыми мелкими государствами. Считая только прибрежные города к югу от Сандабура (Sandabur) (ставшего португальским Гоа) до Калькутты (Calcutta) и Килона (Quilon), можно назвать более дюжины портов, процветавших с XIV века и позже. Малабарские города отличались от ранее названных торговых портов по трем пунктам. Во-первых, сам город не занимался торговлей. Его интересы были чисто фискальными, ограниченными таможенными сборами, портовыми сборами и другими источниками дохода. Во-вторых, административное регулирование торговли не имело единообразного типа — оно содержало в себе как элементы конкуренции, так и приверженность к закону. В-третьих, мотивация сделок была частично коллективной, как в купеческих гильдиях, а ча-

стично индивидуальной; в любом случае мораль торговца, будь он приверженец индуизма или мусульманства, отражала положение их статуса в религиозных сообществах.

Торговые порты, упомянутые выше, отличаются и по своему политико-экономическому характеру. Они могут различаться в соответствии с тем, функционировал ли порт в качестве органа независимого маленького государства (Угарит, Ал-Мина, Сидон, Тир, Вида на его первой стадии) или же он принадлежал империи, расположенной внутри суши (Вида после 1727 года). Нейтральное положение торгового порта могло гарантироваться либо соглашением империй, расположенных во внутренней части суши (Угарит и Ал-Мина), либо благодаря согласию заморских торговых властей (Вида), либо благодаря надежде торгового порта на собственные морские силы (Тир). И наконец, с большинством случаев, когда порт ориентировался на заморскую торговлю, контрастируют те редкие случаи, когда речь шла только о внутренней торговле (Шикаланго).

Теперь, когда возникли сомнения по поводу самого существования рыночной системы в древней Месопотамии, кар неожиданно стал предметом главного внимания ассириологов. Кроме того, историки древности стали осознавать тот факт, что экономическая история Греции построена на предположении о происхождении институтов греческой торговли от Древнего Востока. Если наша трактовка окажется правдивой и вавилонская экономика не базировалась на рыночной системе, то возникает вопрос: как, когда и где возникли рыночная торговля, колеблющаяся цена, счет прибыли и убытков, коммерческие методы ведения бизнеса, коммерческие классы и все остальные феномены рыночно-организованной экономики? История рыночной торговли может в таком случае быть найдена путем перемещения из Вавилона на тысячелетие вперед и на несколько градусов к западу, к Ионии и Греции I тысячелетия до нашей эры.

IV

Коммерческий характер культуры и общества Вавилона — это традиционное мнение, которое достигло аксиоматического статуса после открытия Кодекса Хаммурапи в 1902 году. Суть этого мнения заключалась в предположении об экономической жизни, управляемой стремлением к прибыли, причем прибыль извлекалась за счет разницы цен, а экономика ориентировалась на колеблющиеся цены.

Сомнения, впервые высказанные Паулем Кошакером еще в 1942 году, были восприняты лишь к концу 1950-х годов. Дискуссия сфокусировалась на функциях тамкарума (центральной фигуры в торговле Старовавилонского царства), на происхождении и природе цен, зарегистрированных на тысячах глиняных табличек, на разных видах денег и пользователей деньгами и, наконец, на точном значении аккадских терминов, которые в разных контекстах выдавались то за «рынок», то за «рыночное место».

В коллективном труде «Торговля и рынок в древних империях», изданном в 1957 году, А. Лео Оппенгейм из Чикагского университета и я спорили по поводу отсутствия рыночной площади внутри городов древнего Ближнего Востока. Оппенгейм так изложил основу своего подхода:

> «Реакция против приемов мысли, развитых в XIX веке в области истории религии, лингвистики, социологии и т.д., научила нас уважать чужие цивилизации и обострила наши способности к самооценке в этих областях. Однако это, к сожалению, не относится к экономике. В данном отношении эпистемологические рассуждения, будь они традиционными или нет, создали атмосферу, в рамках которой нельзя понять какие-либо экономические феномены за пределами тех, что выросли из яркого экономического развития Западной Европы, начиная с XVIII века. Сформировавшаяся в результате этого позиция историков-экономистов (являются они приверженцами исторического материализма или традиционного либерализма) характеризуется ярко выраженным недостаточным восприятием экономики так называемых примитивных людей, а также полным игнорированием важнейших черт экономики древних великих цивилизаций.
>
> Новый подход к этой проблеме был открыт Междисциплинарным проектом Колумбийского университета и опробован в разных ситуациях со значительным успехом. Основным преимуществом такого подхода является то, что он дает нам новый набор концепций, которые могут быть использованы, чтобы обобщить огромные разделы сложного и разнообразного ряда данных, которые ассириолог отбирает из экономических текстов»[7].

Я использую этот подход здесь для того, чтобы пролить свет на проблему рынка и кара в Вавилоне.

Вавилонские города, разъясняет Оппенгейм,

[7] Oppenheim A. L. A Bird`s-Eye View in Mesopotamian Economic History // Trade and Markets in Early Empires. P. 28–29.

«...состояли из самого города как такового (uru), пригорода (uru.bar.ra) и порта (kar). *Отсутствие рыночной площади* (курсив Авт. — *Прим. пер.*) так же точно раскрывает внутреннюю экономическую структуру города, как и присутствие района вне стен, называемого словом «порт» (kar) для внутригородских экономических отношений».

Я приведу некоторые аргументы, поддерживающие точку зрения, что Вавилон не имел рыночной системы и, несомненно, практиковал свободные от риска формы торговли в рамках перераспределительной системы (redistributive system), осуществляемой посредством административных методов.

Хотелось бы привести, в частности, выдержку из Геродота, которая была практически проигнорирована историками экономики древности. Греческий историк, который посетил Вавилон где-то между 470 и 460 годами до нашей эры, писал свою «Историю» уже после греко-персидских войн 490–480 годов и намеревался осветить встречу этих враждующих миров Востока и Запада, столкновение, которое должно было стать фокусной идеей его девяти книг. Организация рынка продовольственных товаров в Персии была, видимо, одной из тем, интересующих афинян. Геродот в своей «Истории» заставил Кира, персидского царя царей, высказаться по этому вопросу при встрече в Сардах спартанского посольства, которое заявило протест против его вмешательства в дела ионийских греков, следующим образом: «Я не страшусь людей, у которых посреди города есть определенное место, куда собирается народ, обманывая друг друга и давая ложные клятвы». Как комментирует Геродот, «эти презрительные слова Кир бросил в лицо всем эллинам за то, что у них покупают и продают на рынках (ведь у самих персов вовсе нет базарной торговли и даже не существует рынков)».

Что касается рыночных площадей, то я сошлюсь на археологическое доказательство почти полного отсутствия открытых мест в огороженных стенами городах древней Палестины, а также на безрыночную планировку Вавилона, что подтверждается находками в библиотеке Ашшурбанипала.

Еще в 1925 году в самом первой публикации о каппадокийских клинописных табличках (речь идет об архиве клинописных табличек, найденных в Малой Азии на развалинах древнего города Каниш и относящихся к началу II тысячелетия до нашей эры. — *Прим. пер.*) Б. Ландсбергер (B. Landsberger) заметил интересный факт: в них речь шла только о прибылях, а убытки не упоминались. Позже П. Кошакер решил, что тамкарум в Ларсе был не частным куп-

цом, а чиновником по вопросам торговли, государственным банкиром. Более того, спрашивал он, не могли ли быть цены на рыбу в Ларсе ценами, установленными государством, а вовсе не рыночными ценами?

Значительно приблизился к этой позиции Ф. У. Лиманс. В своем «Старовавилонском купце»[8] он все еще поддерживал мнение, что тамкарум — это частный бизнесмен. Но в более поздней работе «Внешняя торговля в Старовавилонский период» он писал уже иначе:

> «...Если употреблять слово «рынок», то следует понимать, что нет никаких доказательств тому, что в древних городах Южной Месопотамии существовал рынок в нашем понимании слова или что там была рыночная площадь. Нет даже ни одного слова в поддержку такого предположения»[9].

Р. Ф. Г. Свит в своей работе «Деньги и пользователи денег в Старовавилонский период» изучил все имеющиеся таблички — примерно 25 сотен. Результаты подтвердили мою гипотезу о разных видах денег, предназначенных для различных целей: ячмень служил для платежа, серебро — как стандарт, а другие массовые товары — как средства обмена. Г. Гарден и П. Гарелли в последнем исследовании каппадокийских клинописных табличек[10] описали тамкарума как человека, занятого оказанием помощи торговцам в их сделках, получающего свой собственный доход *не* от выгоды при сделках, которыми он руководил, а от комиссионных сборов. Таким образом, изменение мнений экспертов, как оказалось, работает на поддержку моих взглядов, критических по отношению к традиционному рыночному истолкованию экономики Вавилона.

Именно в этом пункте наш рассказ возвращается к кару.

V

Ф. У. Лиманс, изложив мнение об отсутствии в аккадском языке слова для обозначения рынка, сделал следующие заявление:

> «С другой стороны, имеется доказательство, что бизнес зачастую осуществлялся на побережье. Это соответствует тому факту, что водные пути были

[8] Leemans F. W. The Old-Babylonian Merchant. Leiden, 1950. P. 36.

[9] Leemans F. W. Foreign Trade in the Old Babylonian Period. Leiden, 1960.

[10] Gardin G.-G., Garelli P. Etudes des etablissements Assyriens en Cappadoce par ordinateur // Annales. Sept.-Oct. 1961.

основными видами транспорта. Набережная, *карум, как кажется, выполняла ту же функцию, что и рынок в Нижней Месопотамии* (курсив Авт. — *Прим. пер.*). Таким образом, цена на набережной (kima karum ibassu) — это то, что мы называем и переводим как «рыночная цена»[11].

Ф. У. Лиманс, касаясь замечаний П. Кошакера, добавил, что такая цена является рыночной ценой даже в том случае, если она установлена государством.

Признанное ныне отсутствие рыночных мест, рыночных привычек и, более того, даже самого слова «рынок» в аккадском языке должно поднять для ассирологии много вопросов. Новая роль, предложенная Ф. У. Лиманом для кара, предлагает ключ к решению проблемы утерянного рынка. Однако не только не существует подтверждающих это мнение доказательств, но есть суровые возражения переводу слова «кар» как «рынок».

На ранних рынках, исследуемых антропологами или историками, мы находим распределение пищи для общего потребления, что является важной их функцией. Среди прочего это предполагает организацию рынка в намеченные дни, наличие денег в мелких номинациях (таких как ракушки каури, золотой песок или дольки оболов), популярный бартер или сделки наличными, церемониальные, законодательные или ритуальные обычаи, богов и алтарей, охраняющих мир рынка и строго ограничивающих его границы, наличие рыночного персонала и правил по урегулированию споров. Подобные вопросы относятся к наиболее широко распространенным каждодневным культурным явлениям, которые оставляют свой след в религии, законодательстве, литературе и повседневной речи. Их нельзя не заметить. И все же Ф. У. Лиманс не приводит доказательств такого рода. Доказательство, такое как оно есть, указывает скорее на внутригородскую транспортировку товаров массового спроса под наблюдением правительственных чиновников, ответственных за финансы.

Каг как орган внешней торговли, несомненно, имеет много общего с торговыми портами на Малабарском побережье и на Мальдивском архипелаге, которые описал в XIV веке Ибн Баттута, знаменитый арабский путешественник. Малабарское побережье XIV века насчитывало около дюжины прибрежных государств, в которых торговля регулировалась султаном и служащими при нем чи-

[11] Leemans F. W. Economische gegevens in Summerische en Akkadische texten, en hun problemen // Jaarbericht. № 15. 1957–1958. P. 203–204.

новниками. Известна история султана Факханара (Fakhanar), флот которого из тридцати военных кораблей не пропускал мимо города ни одного иностранного торговца, пока тот не заходил в гавань и не платил его длиннорукой таможне bandar. Таможенные чиновники имели полномочия захватывать сомнительную часть груза, уплачивая цену, устанавливаемую ими же самими. Эта цена могла быть ниже, чем стоимость товара. После этого товары перепродавались казначейством, которое наживалось от дохода, добавляемого в казну. С другой стороны, очень значительные расходы, вызываемые щедрым гостеприимством, оказываемым торговым портом, оплачивалась этим же бандаром.

Термин *bandar* служил для обозначения и набережной (или гавани), и казначейства, и таможенного сбора, и складского помещения. Свидетельство о бандаре принадлежит Ибн Баттуте, который провел полтора года на Мальдивах, на главном острове Малан, где он служил. Этимология этого слова персидская («набережная» или «гавань») либо санскритская (бхандара — сокровище, складское помещение, навес для инструмента, магазин). Все это выразительно поддерживает мнение об административных функциях бандара в рамках торгового порта.

Значение полемики по поводу слова *kar* для изучения классической Греции очень велико. Уже давно принято в качестве неписаного закона, что деловая жизнь Эллады унаследовала свои нормы (так же как это сделали лидийцы и финикийцы) от древнего Востока, который отождествлялся прежде всего с Вавилоном. Разрушение некоторых западных предубеждений, касающихся культуры древнего Востока, должно, во-первых, лишить Запад его веры в то, будто его корни уходят в цивилизацию ранней греческой рыночной торговли, а во-вторых, лишить его традиционно готовых ответов о происхождении греко-римской рыночной торговли от якобы меркантильных клинописных цивилизаций, возникших тысячелетием ранее. Я полагаю, что перспективы, открытые спором о каре, представляют всеобъемлющий интерес и заслуживают дальнейших исследований.

АРИСТОТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ ЭКОНОМИКУ [1]

Из предыдущих глав читатель мог почувствовать, что впереди его ждут некоторые важные выводы. Споры о понятии «ойкос» и наши исследования методов ассирийской торговли и деятельности торговых портов в Восточном Средиземноморье дали повод предположить, что изучение Древнего мира, из которого рождалась цивилизация в образе блистательной Греции, таит в себе сюрпризы. Это ожидание не лишено оснований ввиду тех весомых для оценки экономической истории Греции выводов, которые последуют, если признать, что в Вавилоне времен Хаммурапи (1792–1750 годы до нашей эры. — *Прим. ред.*) рыночных отношений не было.

Знакомую нам картину классических Афин придется дополнить тем, что могло бы показаться клубком противоречий. Основным выводом должно быть то, что Аттика не была (и в этом мы твердо уверены) наследницей коммерческих технологий, которые, как предполагалось, были развиты на Востоке; скорее она сама была первооткрывателем новых методов рыночной торговли. Так как Вавилон и Тир не были, как выясняется, родиной рыночного ценообразования, следовательно, истоки этого базового института следует искать в эллинистическом мире, где-то в I тысячелетии до нашей эры. В VI и V веках Греция по большому счету оставалась экономически более наивной, чем думали крайние скептики-примитивисты, но уже в IV веке те же самые греки стали инициаторами ориентированных на прибыль коммерческих практик, которые много позже послужили двигателем развития рыночной конкуренции.

Это проливает свет на ту сторону спора о понятии «ойкос», которая только теперь становится очевидной. Примитивисты настаивали лишь на том, что Аттика ко времени персидских войн еще

[1] Karl Polanyi, "Aristotle Discovers the Economy", K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds.), *Trade and Markets in Early Empires*. New York: Free Press, 1957, p. 78–115. Перевод статьи выполнен Н. А. Розинской и И. А. Розинским при поддержке РФФИ (грант № 01–06–80068), научный редактор перевода О. И. Ананьин.

не была рыночным сообществом. Они не отрицали, что к IV веку финикийцы были лишены своего прежнего превосходства на море греческими мореплавателями, чей предпринимательский дух, подкрепленный морскими займами, обеспечил им лидерство перед теми, у кого раньше они учились. В остальном считалось само собой разумеющимся, что лидийцы передали эллинам искусство прибыльной торговли, которое они сами приобрели от месопотамских соседей на Востоке.

Данные предположения рушатся, если (что кажется несомненным) торговля Шумера, Вавилона и Ассирии, так же как их преемников в Хиттите и Тире, представляла собой предустановленные обычаем действия торговцев по статусу. Но откуда тогда у эллинов или лидийцев взялось искусство индивидуальной предприимчивости, рискованное и прибыльное, которое они с тех пор постепенно начинают применять в своей деятельности? И если они сами шли к новым отношениям (а такой вывод невозможно не сделать), то какие доказательства кризиса ценностей, который неизбежно должен был стать результатом этого процесса, предлагает нам греческая литература?

Показать культурные изменения в Греции в период перехода от героической эпохи к полукоммерческой было бы вне наших возможностей, даже если бы мы не были ограничены рамками этой работы. Тем не менее представляется вполне уместным и даже необходимым в свете новых сведений обратиться к ходу мысли Аристотеля — энциклопедического ума древнегреческого общества, который первым обрисовал феномен, который мы привыкли называть «экономика».

Пренебрежение, с которым в наше время стали относиться к Аристотелевой «Экономике», — явление знаковое. Немного было мыслителей, к чьим идеям по такому широкому кругу вопросов прислушивались бы на протяжении стольких веков, как к идеям Аристотеля. И в то же время его учение о предмете, которому он посвятил особое внимание и который оказался жизненно важным для нашего собственного поколения, а именно учение об экономике, было воспринято ведущими умами нынешнего времени неадекватно, вплоть до непонимания[2].

[2] Согласно И. Шумпетеру, «мы обнаруживаем чинный, прозаический, слегка заурядный и более чем слегка напыщенный здравый смысл». В том, что Аристотель анализировал «фактические рыночные механизмы», Шумпетер не сомневался: «....некоторые отрывки показывают, что Аристотель пытался его

Влияние, которое Аристотель оказал на хозяйство средневекового города через Фому Аквинского, было так же велико, как позже влияние Адама Смита и Давида Рикардо на мировую экономику XIX века. Можно, конечно, сказать, что затем, по мере становления рыночной системы и последовавшего за ним возникновения классических школ, экономическое учение Аристотеля стало забываться. Но суть дела не в этом. Наиболее прямолинейные среди современных экономистов, похоже, считают, что почти все, что он написал по вопросам, касающимся существования человека, носит отпечаток некоей губительной слабости. Ни на один из двух занимавших его широкомасштабных вопросов — природа экономики и вопросы торговли и справедливой цены — не был дан четкий ответ. Человек, как любое животное, представлялся ему по своей природе самодостаточным. И потому он не считал хозяйственную деятельность человека следствием безграничности человеческих желаний и нужд или, как говорят теперь, относительной редкости благ. Что же касается двух практических вопросов, то торговля, согласно Аристотелю, возникла из неестественного стремления делать деньги, которое было безграничным, в то время как цены должны соответствовать нормам справедливости (фактическая формула осталась, впрочем, туманной). Были также его замечания — яркие, хотя и не до конца последовательные — о деньгах и этот озадачивающий взрыв возмущения против взимания процентов. Этот скудный и фрагментарный итог приписывался в основном ненаучной склонности предпочитать должное сущему. Например, утверждение, что цены должны зависеть от относительного положения в обществе партнеров по обмену, воистину представлялось почти абсурдной точкой зрения.

Этот резко обозначенный разрыв с кругом идей, унаследованных от классической Греции, заслуживает большего внимания, чем

[этот анализ] осуществить и потерпел неудачу» (Шумпетер И. А. История экономического анализа: В 3 тт. Т. 1. СПб.: Экономическая школа, 2001. С. 69, 74). Самое последнее детальное исследование не менее негативно в этом отношении (см.: Soudek C. J. Aristotle's theory of exchange // Proceedings of American philosophical society. 1952. Vol. 96. № 1). Единственным исключением служит работа Джозефа Спенглера «Аристотель об экономическом вменении и смежных вопросах», где утверждается, что «Аристотель не обращал внимания на то, как происходит ценообразование на рынке» (Spengler J. J. Aristotle on economic imputation and related matters // Southern economics journal. 1955. Vol. XXI. April. P. 368, fn. 59).

он получал до сих пор. Уровень мыслителя и серьезность предмета должны заставить нас усомниться прежде, чем принять решение об окончательном вычеркивании из науки учения Аристотеля об экономике. Совершенно иная оценка взглядов Аристотеля будет дана в данной работе. Будет показано, что его подход к проблеме существования человека отличался кардинальностью, на которую не был способен ни один из последующих авторов — никто из них не проникал так глубоко в материальную организацию жизни человека. В результате он поставил во всей своей широте вопрос о месте, занимаемом экономикой в обществе.

Мы должны углубиться в прошлое для объяснения взглядов Аристотеля на то, что мы называем экономикой, чтобы понять, что же заставило его отнести добывание денег посредством торговли и справедливую цену к числу главных вопросов политики. При этом мы согласны с тем, что не стоит ожидать пользы для экономической теории от Первой книги «Политики» и Пятой книги «Никомаховой Этики». Конечная цель экономического анализа — разъяснить функционирование рыночного механизма, то есть института, который еще не был знаком Аристотелю.

В основе нашего подхода лежит утверждение, что экономисты-историки совершенно неправильно определили место классической античности на шкале времени, ведущей к рыночной торговле. Несмотря на интенсивную торговую деятельность и достаточно развитые методы использования денег, в целом история рыночной торговли в Греции во времена Аристотеля еще только начиналась. Истоки свойственных иногда Аристотелю нечеткости и неясности формулировок, тем более мнимой отдаленности философа от повседневной жизни следует искать скорее в трудностях выражения того, что представляло собой совершенно новое явление, а вовсе не в том, что Аристотель недостаточно уяснил те моменты, которые составляли якобы повсеместную практику современной ему Греции, подпитывающейся к тому же тысячелетними традициями цивилизаций Востока.

Такой подход оставляет классическую Грецию, несмотря на то что некоторые из ее восточных областей продвигались уже к рыночным механизмам все же на значительно более низком уровне развития рынка, нежели тот, который ей позже приписывался. Таким образом, греки могли и не быть, как это заведомо предполагалось, теми, кто с запозданием подхватил методы коммерческой практики, развитой в восточных империях. Скорее, они с запозданием вступили в цивилизованный, но безрыночный мир, и обстоя-

тельства вынудили их стать первооткрывателями в развитии новых торговых методов, которые представляли собой самое большее — лишь точку поворота в сторону рыночной торговли.

Все это не только не уменьшает, как это может показаться при поверхностном взгляде, значение идей Аристотеля по экономическим вопросам, но, напротив, значительно повышает их важность. Ибо, если наше нерыночное прочтение месопотамской истории соответствует фактам, в чем мы более можем не сомневаться, то у нас есть все основания верить, что в произведениях Аристотеля мы находим правдивое описание очевидцем некоторых черт зарождающейся рыночной торговли при ее первом появлении на свет в истории цивилизации.

АНОНИМНОСТЬ ЭКОНОМИКИ В РАННЕМ ОБЩЕСТВЕ

Аристотель пытался теоретически овладеть элементами нового комплексного социального явления *in statu nascendi* (в стадии становления. — *Прим. ред.*).

Экономика, когда она впервые в форме коммерческой торговли и разницы цен (покупных и продажных) привлекла осознанное внимание философа, была уже обречена пройти сложный путь своего развития и полностью проявить себя почти двадцать веков спустя. Увидев зародыш, Аристотель предугадал, как будет выглядеть полностью сформировавшаяся особь[3].

Инструментом анализа, с помощью которого следует исследовать этот переход экономики от состояния безымянности к отдельному существованию, является противопоставление включенного (embedded) и выделившегося, или автономного (disembedded), положения экономики по отношению к обществу. Автономная экономика XIX столетия обособилась от остального общества и прежде всего от политической системы. В рыночной экономике производство и распределение материальных благ, в принципе, осуществляется посредством саморегулирующейся системы ценообразующих рынков. Эта система руководствуется своими законами, так называемыми законами спроса и предложения, и приводится в движение страхом перед голодом и надеждой на прибыль. Не кровные узы, не правовое принуждение, не религиозные обязательства, не верность вассала вассалу, не магия, а специфические экономические институты, такие как система частного предпринимательства и на-

[3] См.: Polanyi K. The great transformation. N.Y., 1944. P. 64.

емного труда, заставляют отдельного человека участвовать в экономической жизни.

С таким положением дел мы, конечно, неплохо знакомы. В условиях рыночной системы существование человека обеспечивается институтами, которые приводятся в действие экономическими мотивами и направляются законами специфически экономического характера. Это позволяет представить себе всеобъемлющий механизм экономики работающим без сознательного вмешательства власти человека или государства; он не нуждается ни в каких других стимулах, кроме страха перед нищетой и стремления к законной прибыли, не требует никаких других юридических предпосылок, кроме защиты собственности и выполнения контракта. Если заданы распределение ресурсов, покупательная сила, а также индивидуальные шкалы предпочтений, результатом будет оптимальное удовлетворение потребностей для всех.

Таковы представления XIX века о независимой экономической сфере в структуре общества. Она выделяется мотивационно, поскольку получает импульс от жажды получения денег. Она отделена институционально от политического и административного центра. Она становится автономной областью, которая функционирует по своим собственным законам. Здесь мы имеем крайний случай выделенности экономики из общества, начало которой было положено широким использованием денег в качестве средства обмена.

В силу своей природы процесс развития экономики от состояния включенности в общество к состоянию выделенности — это процесс постепенный. Тем не менее это различие фундаментально для понимания современного общества. Его социологическая основа была сначала сформулирована Гегелем в 1820-х годах и развита Карлом Марксом в 1840-х годах. Его эмпирическое открытие в исторических терминах было сделано сэром Генри С. Мейном в 1860-е годы с помощью категорий status и contractus, заимствованных из римского частного права. Наконец, этот взгляд был переформулирован в 1920-е годы Бронисла́вом Малиновским в терминах экономической антропологии в более развернутом виде.

Сэр Генри С. Мейн[4] взялся доказать, что современное общество строится на *контракте* (contractus), в то время как древнее общество покоилось на *статусе* (status). Статус устанавливается рождением — положением человека в семье — и определяет права и обя-

[4] Генри С. Мейн (1822–1888) — английский историк и антрополог, профессор права в Оксфордском и Кембриджском университетах. — *Прим. ред.*

занности конкретного человека. В основе статуса лежит родство и институт усыновления; его роль сохраняется и при феодализме с некоторыми оговорками — вплоть до эпохи гражданского равноправия, устанавливаемого в XIX веке. Но уже в римском праве статус был постепенно заменен *контрактом*, то есть правами и обязанностями, вытекающими из двусторонних договоренностей. Позже Мейн раскрыл универсальный характер организации общества на основе статуса (на примере деревенских сообществ в Индии).

В Германии Мейн нашел ученика в Ф. Тённисе[5], концепция которого была отражена в названии его труда «Сообщество и общество» [Gemeinschaft und Gesellschaft 1888]. «Сообщество соответствовало *статусу*, общество — *контракту*». Макс Вебер частенько использовал слово Gesellschaft в смысле группы контрактного типа, а Gemeinschaft – в смысле группы статусного типа. Так что его собственный анализ места экономики в обществе был сформирован идеями Маркса, Мейна и Тённиса, хотя порой в нем также чувствуется влияние Мизеса.

Впрочем, эмоциональное отношение к *статусу* и *контракту* и, соответственно, *сообществу* и *обществу* у Мейна и у Тённиса было весьма различным. Для Мейна доконтрактный период в жизни человечества соответствовал темным векам родоплеменного строя. Внедрение *контракта* он воспринимал как освобождение индивида от уз *статуса*. Симпатии Тённиса были на стороне внутренней близости отношений, свойственной сообществу, в противовес безличному характеру организованного общества. *Сообщество* идеализировалось им как состояние, при котором жизни людей были вплетены в ткань общего опыта, в то время как *общество* для него мало отличалось от «полюса чистогана» (cash nexus), как Томас Карлейль[6] называл взаимоотношения лиц, связанных исключительно узами рынка. Политический идеал Тённиса предполагал восстановление *сообщества*, но не путем возвращения к стадии, предшествующей образованию *общества*, то есть к авторитарности и патернализму, а путем продвижения к высшей форме сообщества постобщественной стадии (post-society), которая придет вслед за нашей нынешней цивилизацией. Он представлял это сообщество как кооперативную фазу человеческого существования, которая сохранила бы преи-

[5] Фердинанд Тённис (1855–1936) — немецкий социолог, один из родоначальников профессиональной социологии в Германии. — *Прим. ред.*

[6] Томас Карлейль (1795–1881) — английский историк, философ, публицист. — *Прим. ред.*

мущества технического прогресса и индивидуальную свободу при одновременном восстановлении полноты жизни.

Трактовка эволюции человеческой цивилизации Гегелем и Марксом, Мейном и Тённисом была воспринята многими европейскими учеными как законченный конспект истории общества. В течение долгого времени направление, которое они начали разрабатывать, не получало дальнейшего развития. Мейн рассматривал эти вопросы преимущественно в контексте истории права, включая его корпоративные формы, как, например, в индийской деревне. Социология Тённиса возрождала очертания средневековой цивилизации. В отношении экономики эта антитеза стала применяться только после появления основополагающих трудов Малиновского о природе примитивного общества. Возникло понимание того, что *статус* (Gemeinschaft) доминирует там, где экономика включена в неэкономические институты, *контракт* (Gesellschaft) же — характерный признак экономики как мотивационно обособленной сферы общества.

Объяснение тому очевидно в терминах интеграции. *Контракт* — это правовой аспект обмена. Неудивительно поэтому, что общество, которое базируется на *контракте*, должно иметь отделенную институционально и выделяющуюся мотивационно экономическую сферу обмена, а именно рынок. *Статус* в то же время соответствует более ранним условиям, которые в целом характеризуются взаимностью и перераспределением. Пока преобладают эти формы интеграции, нет нужды для возникновения отдельного понятия «экономика». Элементы экономики в этом случае включены в неэкономические институты, так что экономический процесс институционально оформляется посредством отношений родства, брака, возрастных групп, тайных обществ, тотемных ассоциаций и общественных торжеств. Термин «экономическая жизнь» не имеет здесь очевидного значения.

Такое положение дел, весьма странное для современного сознания, зачастую ярко демонстрируется в примитивных сообществах. Наблюдателю порой почти невозможно подобрать фрагменты экономического процесса и сложить их вместе. Переживания индивида не дают ему такого опыта, который он мог бы обозначить как экономический. Он попросту не осознает какого-либо объединяющего интереса, который связан с обеспечением средств к существованию и который можно было бы как-то выделить. Однако отсутствие такого понимания вряд ли служит препятствием при выполнении им своих повседневных задач. Напротив, осознание наличия экономической сферы могло бы привести к снижению его способ-

ности спонтанно реагировать на нужды, связанные с обеспечением средств существования, коль скоро последние проходят преимущественно иными каналами, нежели экономические.

Все это зависит от того, как институционально устроена экономика. *Мотивы* индивидуального поведения — каждый со своим именем и ясно очерченной программой действий — возникают в основном из ситуаций, созданных факторами неэкономическо-семейного, политического или религиозного порядка. То, что составляет хозяйство небольшой семьи, — это едва ли нечто большее, чем точка пересечения между различными видами деятельности, осуществляемыми более крупными родственными группами в различных местах проживания. Земля используется либо совместно в качестве выгона для скота, либо распределяется в своих многообразных функциях между членами различных групп. Труд — это чистая абстракция от необходимого содействия, которое оказывают различные группы помощников в установленных случаях. В результате весь процесс движется по проторенным колеям разных структур.

В прежние эпохи формы добывания человеком средств к существованию привлекали значительно меньше его сознательного внимания, нежели многие другие стороны его организованного существования. В отличие от родства, магии или этикета с их исполненными значения словами-символами, экономика как таковая оставалась безымянной. Термина, обозначающего понятие экономики, как правило, не существовало. Соответственно, как можно судить, не существовало и самого этого понятия. Принадлежность к клану и тотему, половой и возрастной группе, идейное лидерство и церемониальные практики, обычаи и ритуалы были институционализированы посредством очень сложных систем символов, в то время как за экономикой не было закреплено никакого слова-знака, которое бы придавало смысл добыванию пищи, необходимой для выживания человека. Неслучайно до недавнего времени в языке даже цивилизованных народов не находилось терминов для обобщенного выражения того, что составляет организацию материальных условий жизни. Только двести лет назад эзотерическая секта французских мыслителей изобрела термин и назвала себя *экономистами*[7]. Это была заявка на открытие экономики.

Основная причина отсутствия понятия экономики связана с трудностью идентифицировать экономический процесс в условиях, когда он включен в неэкономические институты.

[7] Речь идет о школе, или, как их называли современники, секте физиократов.

Конечно, незадействованным оказывается только понятие экономики, а не сама экономика. Природа и общество изобилуют процессами, обеспечивающими основы жизнедеятельности человека: со сменой времен года приходит время урожая, сопровождаемое периодами напряженного труда и отдыха; у торговли на дальние расстояния есть свой ритм подготовки и сборов, завершаемый торжествами по поводу возвращения купцов; изготавливаются и в конечном счете находят свое применение всевозможные артефакты этих видов деятельности, будь то каноэ или украшения; каждый день на неделе в семейных очагах готовится еда. Любое отдельное событие неизбежно несет в себе набор экономических элементов. И тем не менее единство и связь этих фактов не находят отражения в человеческом сознании, ибо цепь взаимодействий между людьми и их естественным окружением наделена разнообразными смыслами, которые отнюдь не сводятся к экономической зависимости. На фоне других зависимостей, более ярких, более драматических или более эмоционально окрашенных, экономические процессы могут не складываться в осмысленное целое. Там, где эти другие силы институционально закреплены, понятие экономики скорее может запутать индивида, чем помочь ему сориентироваться. Антропология дает этому много примеров.

1. Если *место,* где человек живет, не является частью общего хозяйственного пространства, его жилище — домашнее хозяйство вместе с его материальным окружением — экономически малозначимо. Так и будет, как правило, когда события и действия, относящиеся к разным экономическим процессам, пересекаются в одном месте, в то время как события и действия, формирующие один и тот же процесс, распределены по многим местам, не связанным между собой.

Маргарет Мид описала, как говорящий на папуасском наречии арапеш из Новой Гвинеи представляет свое физическое окружение:

> «Типичный мужчина-арапеш живет хотя бы часть времени на земле, которая ему не принадлежит (поскольку каждый мужчина живет в двух или более деревнях, в садовых и охотничьих домиках, а также там, где растут его саговые пальмы). Вокруг дома пасутся свиньи, которых кормит его жена, но которые принадлежат кому-то из ее или его родственников. Рядом с домом растут кокосовые пальмы и бетель, которые также принадлежат другим людям, и плоды этих деревьев он никогда не тронет без разрешения владельца или того, кому доверено этими плодами распоряжаться. Хотя бы часть времени он охотится в зарослях буша на территории, принадлежащей

брату жены или двоюродному брату; когда же он охотится на своей территории, если таковая имеется, к нему присоединяются другие. Он заготавливает свое саго и в тех зарослях саго, которые ему не принадлежат, и в своих собственных. Что касается личной собственности в его доме, которая имеет хоть какую-то постоянную ценность, например крупные горшки, тщательно вырезанные тарелки, доброкачественные копья, то она заранее предназначена его сыновьям, даже если они только еще учатся ходить. Принадлежащие ему свиньи находятся далеко в других деревушках; его пальмовые деревья разбросаны на три мили в одну сторону и на две — в другую; его саговые заросли простираются еще дальше, а его садовые делянки находятся там и сям, по большей части не на своей земле. Если над костром на палке висит мясо, то это либо мясо животного, убитого кем-то другим — братом, братом жены, сыном сестры и т.д. — и дарованного ему (тогда он и его семья могут есть это мясо), либо это мясо животного, которого он убил сам и которое он коптит, с тем чтобы отдать другим, поскольку есть то, что ты убил сам, будь это даже маленькая птичка, — преступление, на которое, считает арапеш, может пойти только сумасшедший. Если номинально дом, в котором он находится, ему и принадлежит, то он должен быть построен, хотя бы частично, из столбов и планок от чужих домов, которые были разобраны или временно покинуты и из которых он позаимствовал строительный лес. Он не будет укорачивать балки так, чтобы они подошли к размеру его дома, если они слишком длинные, так как они могут понадобиться в дальнейшем для чьего-то еще дома, который имеет другую форму или размер... Вот как выглядит картина обычных экономических связей человека»[8].

Сложность социальных отношений, регулирующих эти каждодневные действия, потрясает. Тем не менее только благодаря таким отношениям, ставшим ему знакомыми и обретшим для него конкретное содержание, арапеш способен найти свое место в экономической жизни, элементы которой, как мозаика, разбиты на множество различных социальных взаимоотношений неэкономического характера.

Таков пространственный аспект экономического процесса в обществе, где преобладают отношения взаимности.

[8] Cooperation and competition among primitive peoples / Ed. by M. Meade. N.Y.: L., 1937. P. 31. (Карл Поланьи ссылается на исследования Маргарет Мид (1901–1978) — знаменитого американского этнографа. См.: Мид М. Культура и мир детства // Мид М. Избранные произведения. М.: Наука, 1988. Раздел IV этой книги «Горные арапеши» посвящен описанию племени, на которое ссылается К. Поланьи. — *Прим. пер.*)

2. Другая общая причина того, что в примитивном обществе экономика не проявляет себя как единое целое, — *отсутствие в нем количественного начала.* Тот, кто владеет десятью долларами, не называет, как правило, каждый доллар отдельным именем и воспринимает их скорее как взаимозаменяемые единицы, которые можно складывать и вычитать. Если нет этой возможности, то вряд ли появятся такие термины, как «фонд» или «баланс прибыли и убытков», да и само понятие экономики будет, пожалуй, лишено всякой практической ценности. Оно не поможет сделать поведение более дисциплинированным, труд — более упорным и организованным. Впрочем, никакой предрасположенностью к количественным измерениям экономический процесс сам по себе не обладает; тот факт, что средства к существованию подлежат счету, — это не более чем результат определенного способа организации экономики. Экономика Тробрианских островов, например, организована как непрерывный поток обменов «ты — мне, я — тебе», причем нет никакой возможности установить баланс взаимных дарений или применить к ним понятие «фонд» или «запас». Взаимность требует адекватности откликов, а не математического равенства. Соответственно, трансакции и решения не могут быть сгруппированы сколько-нибудь экономически точно, то есть в соответствии с тем, как они влияют на удовлетворение материальных потребностей. Цифры, если они и есть, не соответствуют фактам. Сколь бы ни велико было экономическое значение акта, оценить его относительную важность оказывается невозможным.

Малиновский перечислил разновидности взаимообменов, начиная с бесплатных даров, с одной стороны, до чисто коммерческого бартера — с другой[9]. Его классификация «даров, платежей, сделок» включала семь категорий, которые он соотносил с восемью социологическими типами отношений, лежавшими в основе каждого из таких действий. Результаты его анализа были весьма показательными:

а) категория «бесплатные дары» касалась исключений, поскольку благотворительность была ненужной и не поощрялась, а понятие дара всегда ассоциировалось с идеей адекватного ответного дара (при этом, конечно, не имелась в виду эквивалентность). Да-

[9] Malinowski B. Argonauts of the western pacific. N.Y., 1922. Ch. VI. (Бронислав Малиновский (1884–1942) — английский этнограф польского происхождения, один из лидеров функциональной школы в антропологии. Подробнее см.: Малиновский Б. Научная теория культуры. М.: ОГИ, 1999. — *Прим. пер.*)

же дары, которые фактически были бесплатными, представлялись в качестве ответных даров, причитавшихся за какую-либо фиктивную услугу, оказанную дарителю. Малиновский обнаружил, что «туземцы, несомненно, не думают, что все бесплатные дары имеют между собой что-то общее». Там, где отсутствует понятие «чистый убыток», оперировать понятием баланса по некоему единому фонду, из которого что-то отдается и в который что-то поступает, не имеет смысла;

б) в той группе трансакций, где ожидается, что дар будет возмещен в экономически эквивалентном размере, мы встречаемся с другим обескураживающим фактом. По нашим понятиям, речь идет о категории, которая должна быть практически неотличима от торговли. Но это совсем не так. Иногда партнеры дарят друг другу одни и те же предметы, лишая тем самым сделку какой-либо мыслимой экономической целесообразности или значения! Простой факт возвращения, хотя и кружным путем, свиньи ее дарителю показывает, что обмен эквивалентов — это скорее средство защиты против проникновения утилитарных ценностей, чем шаг в направлении экономической рациональности. Единственная цель обмена — сблизить отношения путем укрепления уз взаимности;

в) взаимовыгодный (утилитарный) бартер (gimwali) отличается от любого другого типа взаимного обмена дарами. Если при церемониальном обмене рыбы на ямс (wasi) стороны придерживаются принципа адекватности, так что при небогатом улове или плохом урожае дар потерпевшей стороны уменьшается, то в случае бартерного обмена рыбы на ямс возникает хотя бы подобие торга по поводу условий обмена. Кроме того, для таких отношений характерно отсутствие особых партнерских отношений между участниками сделок, а также то, что подобный бартер допускается только применительно к вновь изготовленным предметам, ибо тем, что были в употреблении, может придаваться особая личностная ценность;

г) в рамках социально определенных отношений многих типов обмен обычно бывает неравным по-своему для каждого типа отношений. Присвоение продуктов и услуг зачастую происходит посредством таких институтов, которые делают некоторые сделки необратимыми, а многие товары — не подлежащими обмену.

Таким образом, использование количественных измерений едва ли можно ожидать в той обширной области обеспечения, которая проходит под рубрикой «дары, платежи и сделки».

3. Другое знакомое понятие, неприменимое в условиях примитивных обществ, — это понятие *собственности* как права распоря-

жаться определенными объектами. Соответственно, неосуществим прямой учет объектов владения. Налицо ситуация с многообразием прав разных лиц в отношении одного и того же предмета. В результате такой фрагментации единство предмета с точки зрения собственности разрушается. Изменения в правах собственности, как правило, распространяются не на объект целиком, например на участок земли, а только на отдельные способы пользования им, что лишает смысла понятие собственности в отношении объекта в целом.

4. Собственно *экономические сделки* едва ли возникают в сообществах, организованных по принципу родства. В ранние эпохи сделки представляют собой общественные акты, относящиеся к статусу людей и ряда самодвижущихся (self-propelling) вещей: невесты, жены, сына, раба, быка, лодки. В условиях оседлости изменения в статусе участка земли также удостоверялись публично.

Такие статусные сделки, естественно, влекут за собой важные экономические последствия. Ухаживание, помолвка, свадьба, усыновление и совершеннолетие сопровождаются перемещением благ: одних — сразу, других — в отдаленной перспективе. Как бы ни была велика экономическая роль таких сделок, она уступала их значимости в установлении социального положения человека в обществе.

Как же в таком случае сделки в отношении благ в конечном счете отделяются от типичных родственных сделок в отношении лиц?

Пока отчуждению подлежали только некоторые статусные товары, такие как земля, крупный рогатый скот, рабы, нужды в отдельных экономических сделках не было, поскольку передача таких благ сопровождала изменения в статусе, в то время как передача благ вне связи с такими изменениями не получила бы одобрения коллектива. Кстати, если судьба вещи неотделимо связана с судьбой ее владельца, то ее экономическая оценка весьма затруднительна.

Отдельные сделки совершались в древние времена только в отношении двух наиболее важных видов благ, а именно земли и труда. Таким образом, первыми объектами ограниченных сделок были именно те блага, которые в число свободно отчуждаемых благ вошли в последнюю очередь. Сделки были ограниченными, так как земля и труд в течение долгого времени оставались частью социальной ткани и не могли быть произвольно мобилизованы без ее разрушения. Ни землю, ни свободного гражданина нельзя было продать прямо и открыто. Их передача была временной и условной. Без неограниченной передачи собственности отчуждения не происходило. Примером могут служить экономические сделки в отношении земли и труда, совершавшиеся в феодально-родовой Арра-

фе на Тигре в XIV веке. Собственность как на землю, так и на людей принадлежала у Нузи коллективам — кланам, семьям, деревням. Передавалось только право пользования. Насколько исключительным событием во время господства родового строя была передача собственности на землю, можно видеть из драматического эпизода (в Библии), когда Авраам покупает семейный склеп у Хиттитов.

Особенно отметим тот факт, что передача одного только права пользования придавала сделке гораздо более экономический характер, чем это было бы в случае передачи собственности в целом. При обмене собственностью большой вес могут иметь факторы престижа или иные эмоциональные факторы; при отчуждении пользования превалирует утилитарный элемент. В современных терминах процент как цену пользования в единицу времени можно назвать одной из самых ранних институционально закрепленных экономических величин.

В конечном счете тонкий экономический слой может «отколоться» от статусной сделки, относящейся к отдельному лицу. И тогда экономический элемент может переходить из рук в руки самостоятельно, а сделка — камуфлироваться под статусную, будучи таковой лишь фиктивно. Например, при запрете продавать землю не членам клана остаточные права клана на возврат земли могут быть нейтрализованы правовыми способами. Одним из таких способов было фиктивное усыновление покупателя или, как вариант, фиктивное согласие членов клана на продажу.

Другая линия развития в сторону обособления экономических сделок проходила, как мы это видели, через передачу только права пользования при явном сохранении таким образом остаточных прав собственности клана или семьи. Этой же цели служил взаимный обмен правами пользования разными предметами, при котором сами предметы служили залогом.

Классическая афинская форма залога (prasis epi lysei) была, вероятно, именно такой передачей одного лишь права пользования, но при этом должник оставался на участке (in situ) исключительно под обязательство передавать кредитору в качестве процента часть урожая. Права кредитора охранялись путем установки пограничного камня, на котором было написано его имя и сумма долга, при этом, однако, не упоминались ни дата платежа, ни процент. Если такое толкование аттического horos верно, то это значит, что участок земли закладывался на дружеской основе на неопределенный срок против некоторой доли урожая. Неисполнение обязательства с последующим наложением ареста на имущество в обеспечение

долга происходило крайне редко, а именно при конфискации земель должника или крахе всей его семьи.

Почти в каждом случае отдельная передача права пользования служит цели укрепления семейных и клановых уз с их социальными, религиозными и политическими связями. Таким образом, экономическая роль права пользования оказывается совместимой с дружественной взаимностью таких связей. Это позволяет сохранять контроль со стороны коллектива над начинаниями его отдельных членов. Так или иначе, но экономический фактор едва ли мог претендовать на значительную роль в этих сделках.

Услуги, а не блага составляют богатство во многих архаичных обществах. Они выполняются рабами, слугами и вассалами. Но сделать человека расположенным к службе в силу его статуса — это задача не экономической, а политической власти. С увеличением материальных составных частей богатства в противовес нематериальным политический метод контроля отступает, освобождая дорогу так называемому экономическому контролю. Крестьянин Гесиод говорил о бережливости и обработке земли за века до того, как философы-аристократы Платон и Аристотель узнали о какой-либо иной социальной дисциплине, помимо политики. Спустя два тысячелетия в Западной Европе новый средний класс создал богатство, состоящее из товаров, и использовал экономические аргументы против своих феодальных хозяев, а еще век спустя их унаследовал рабочий класс промышленного века, сделав орудием своей собственной эмансипации. Аристократия сохраняла монополию на власть и смотрела сверху вниз на производство товаров. Таким образом, до тех пор пока зависимая рабочая сила является основным элементом богатства, экономика остается в тени.

6. В философии Аристотеля *тремя дарами судьбы* были:
почет и престиж;
безопасность жизни и сохранность тела;
богатство.

Первое включает в себя привилегии и почтение, ранг и высокое положение в общественной иерархии; второе обеспечивает безопасность от открытых и тайных врагов, предательства и восстаний, бунтов рабов, насилия со стороны сильных и даже защиту от руки закона; третье, богатство, — это благодать владения в основном наследством или известным сокровищем. Конечно, полезные блага, продовольствие и материалы, как правило, в достатке у тех, кому причитается почет и безопасность, но слава затмевает богатство. Бедность вместе с тем сопутствует низкому статусу: приходит-

ся зарабатывать на жизнь, зачастую подчиняясь другим людям. Чем меньше ограничен произвол тех, кто приказывает, тем унизительнее условия. Не столько сам по себе ручной труд — об этом свидетельствует неизменно уважаемый статус крестьянина, — сколько зависимость от личного каприза и приказа другого человека вызывает презрение к тому, кто служит. И снова простой экономический факт более низкого дохода остается малозаметным.

Высшие жизненные блага, или Agatha, – это самые желанные и одновременно самые редкие блага. Воистину это удивительный контекст, для того чтобы натолкнуться на такое свойство благ, которое современная теория стала рассматривать как критерий их экономического характера, то есть на их редкость. Ибо проницательный ум при рассмотрении жизненных благ должен быть поражен тем, что источник их редкости совершенно не тот, на который нас ориентировал бы экономист, для которого редкость отражает либо скудость природы, либо бремя труда, необходимого для производства блага. Самый высокий почет и редчайшие отличия не бывают частыми совсем не поэтому. Причина их редкости очевидна: на вершине пирамиды нет лишнего места. Agatha не может быть много по самой природе соответствующих благ, будь то высокий ранг, неповторимость или статус сокровища; они не были бы таковыми, окажись доступными многим. Вот почему в древнем обществе понятие редкости не имеет экономического оттенка, даже если порой количество полезных благ и в самом деле ограничено. Но редчайшие блага относятся к иному ряду. Их редкость проистекает из неэкономического порядка вещей.

Телесная *самодостаточность* человеческих существ — этот постулат повседневной жизни обеспечивается тогда, когда предметы первой необходимости доступны физически. Речь идет о тех предметах, которые поддерживают жизнь и могут храниться. Зерно, вино и масло — все это охватывается понятием chremata; сюда же вносятся шерсть и определенные металлы. Запаса этих благ должно хватать для граждан и членов их семей во времена голода и войны. Количество благ, в котором нуждаются семья или город, — это объективное требование.

Домашнее хозяйство — самая малая, а полис — самая большая единица потребления: в обоих случаях то, что необходимо, устанавливается стандартами сообщества. Отсюда представление о том, что количество благ первой необходимости естественным образом ограничено. По смыслу это близко к понятию «пайка». Поскольку отношения эквивалентности в силу обычая или по закону устанав-

ливались только для тех жизненных средств, которые фактически служили единицей при платежах или выплате заработков, понятие «необходимое количество» было связано с этими основными продуктами. Отсюда ясно, что представление о неограниченности человеческих желаний и нужд, логически соответствующее понятию редкости, было совершенно чуждым для этого подхода.

Вот некоторые из главных причин, которые в течение столь долгого времени стояли на пути рождения экономического поля интересов. Даже в глазах профессионального мыслителя тот факт, что человек должен есть, не выглядел достойным анализа.

ИССЛЕДОВАНИЯ АРИСТОТЕЛЯ

Как ни парадоксально, но последнее слово о природе экономической жизни надлежало высказать мыслителю, который едва успел увидеть ее зарождение. Впрочем, Аристотель, живший на рубеже экономических эпох, находился в выгодной позиции, чтобы осознать значимость вопроса.

Это, кстати, может разъяснить, почему в наши дни, когда изменение места экономики в обществе сравнимо по масштабу только с гениями времен появления рыночной торговли, прозрения Аристотеля относительно связи экономики и общества можно оценить в полной мере.

У нас есть все основания искать в его трудах куда более важные формулировки по экономическим вопросам, чем те, которые признавались за ним прежде. На самом деле идеи, разбросанные по «Этике» и «Политике», несут в себе монументальное единство мысли.

Всякий раз, когда Аристотель касался вопроса об экономике, он стремился рассматривать ее во взаимосвязи с обществом как единым целым. В его поле зрения находилось сообщество как таковое, существующее на разных уровнях внутри всех действующих групп людей. Таким образом, в современных терминах подход Аристотеля мы бы назвали социологическим. Чтобы очертить рамки исследования, ему нужно было соотнести все вопросы происхождения и функционирования институтов с целостностью (тотальностью) общества. Сообщество, самодостаточность и справедливость — вот понятия, которые находились в центре внимания. Группа как функционирующее целое (going concern) формирует сообщество (koinonid), члены которого связаны узами доброй воли (philia). Будь это ойкос или полис, существует вид philia, специфический для данного сообщества, вне которого группа не могла бы сохранить-

ся. Philia выражает себя в поведении, основанном на взаимности (anti-peponthos)[10], то есть готовности по очереди принимать на себя бремя и делить его между собой. Все, что нужно для того, чтобы продолжать и поддерживать сообщество, включая его самодостаточность (autarkeia), является естественным и внутренне оправданным. Можно сказать, что автаркия — это способность существовать вне зависимости от ресурсов извне. Справедливость — в противовес нашим современным взглядам — предполагает неравенство положения членов сообщества. Все, что обеспечивает справедливость, будь то при распределении жизненных благ или разрешении конфликтов и регулировании взаимных услуг, есть благо, если это требует устойчивого существования группы. Так что нормативность здесь неотделима от реальности.

Эти общие контуры Аристотелевой системы должны позволить нам очертить его взгляды на торговлю и цены. Внешняя торговля естественна, когда она служит выживанию сообщества за счет поддержания его самодостаточности. Необходимость в этом возникает, как только разрастающаяся семья делается слишком многочисленной и ее члены вынуждены селиться отдельно друг от друга. Их самодостаточность оказалась бы после этого во всех отношениях ослабленной, если бы не готовность поделиться (metadosis) тем, что имеется в избытке. Условия, на которых разделяемые услуги (или блага) обмениваются, определяются требованиями philia, то есть интересами поддержания духа доброй воли среди членов, ибо без этого само сообщество прекратит свое существование. Соответственно, и справедливая цена выводится из требований philia, как они выражены в принципе взаимности, составляющем сущность всякого человеческого сообщества.

Из этих же принципов проистекает и его критика коммерческой торговли, а также высказывания в пользу установления обменных пропорций, или справедливой цены. Торговля, как мы это видели, является естественной, пока она требуется для самообеспечения. Цены установлены справедливо, если они соответствуют положению участников сообщества, укрепляя тем самым добрую волю, на которой сообщество покоится. Обмен благами — это обмен услугами; это опять-таки проявление принципа самообеспечения, который реализуется путем взаимообмена по справедливым ценам. При таком обмене выигрыша нет: блага имеют свои собственные

[10] Аристотель. Никомахова этика. Фрагмент 1132б 21, 35 // Аристотель. Сочинения. В 4 тт. Т. 4. М.: Мысль, 1984.

цены, установленные заранее. Если же в виде исключения на рыночной площади должна существовать и прибыльная розничная торговля ради удобства распределения товаров, то пусть этим занимаются не граждане. Теория Аристотеля о торговле и цене была не чем иным, как простым следствием его общей концепции человеческого сообщества.

Сообщество, самодостаточность и справедливость — эти три базовых принципа его социологии служили ему точками отсчета в размышлениях по всем экономическим проблемам, будь то природа экономики или практические вопросы.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

При рассмотрении природы экономики отправная точка, как и всегда у Аристотеля, — эмпирическая. При этом осмысление даже наиболее очевидных фактов глубоко и оригинально.

В стихах Солона провозглашалось, что человеческая жажда богатства не знает границ. Нет, это не так, отвечает Аристотель. Богатство в своей истине — это вещи, необходимые для поддержания жизни и надежно сохраняемые под контролем сообщества, нужды которого они и обеспечивают. Человеческие потребности, идет ли речь о домашнем хозяйстве или городе, не безграничны; природа не знает нехватки средств пропитания. Мысль, для современного уха звучащая довольно странно, проводится неумолимо и тщательно. Каждый логический шаг четко соотносится с определенным институтом. Аргументация следует социологической логике, избегая психологии.

Отрицание постулата редкости (если пользоваться современным языком) основывается на условиях животного мира, а оттуда распространяется на условия жизни человека. Разве животные с момента рождения не находят себе пропитание в окружающей их среде обитания? А люди — разве они не находят источник пропитания в молоке матери и в конечном счете в своей естественной среде обитания, будь они охотниками, скотоводами или земледельцами? Поскольку для Аристотеля рабство является естественным, он может, не впадая в противоречие, описывать набеги с целью захвата рабов как охоту на особого рода дичь и затем представлять отдых граждан-рабовладельцев как дар природной среды. Во всяком случае никакая иная потребность, кроме потребности в пропитании, в расчет не берется и уж, конечно, не одобряется. Поэтому, если редкость возникает со стороны спроса, как мы бы выра-

зились, то Аристотель приписывает это неверному представлению о хорошей жизни, связывающему ее со стремлением к изобилию материальных благ и наслаждений. То, что составляет содержание хорошей жизни: приподнятая атмосфера непрерывного театрального действа, участие в судебных заседаниях, поочередное занятие общественных должностей, сбор голосов и проведение предвыборных кампаний, большие празднества, даже упоение битвой и морским сражением — все это нельзя накапливать, этим нельзя обладать в прямом смысле слова. Действительно, хорошая жизнь предполагает, как это общепризнанно, что гражданин имеет свободное время, чтобы посвятить себя службе на благо своего *полиса*. Здесь снова наличие рабства служило одной из предпосылок. Другой и гораздо более действенной предпосылкой было то, что всем гражданам выплачивалось вознаграждение за выполнение общественных обязанностей, к тому же в сочетании с недопущением ремесленников в ряды граждан — мерой, которую сам Аристотель, по-видимому, поддерживал.

Есть еще одна причина, по которой проблема редкости у Аристотеля не возникает. Экономика, судя по корню этого слова, — нечто, относящееся к домашнему хозяйству, или *ойкосу*. Это непосредственно отношения лиц, которые составляют естественный институт домашнего хозяйства. Не владения, а родители, потомство и рабы — вот, кто его образует. Технику садоводства, животноводства и все прочие способы производства Аристотель исключал из сферы экономики. Акцент — полностью институциональный и лишь до некоторой степени экологический — обусловил вывод технологии в подчиненную сферу полезных знаний. Понятие экономики Аристотеля близко подводит к тому, чтобы мы могли определить ее как институционализированный процесс, посредством которого обеспечивается материальное существование. Не претендуя на дословность, можно сказать, что ошибочную концепцию неограниченных человеческих желаний и потребностей или всеобщей редкости благ Аристотель относит на счет двух обстоятельств: во-первых, приобретения продуктов питания посредством коммерческих торговцев, что вводит деньги (money-making) в процесс поиска средств к существованию; во-вторых, ошибочного представления о хорошей жизни как об утилитарном накоплении физических удовольствий. При надлежащих институтах в области торговли и правильном понимании хорошей жизни Аристотель не видел места для фактора редкости в хозяйстве человека. Свой вывод он не забыл увязать и с существованием таких институтов, как рабство, детоубийство, а также

не рассчитанный на комфорт образ жизни. Без этой эмпирической ссылки его отрицание редкости могло бы быть таким же догматическим и уязвимым по отношению к фактам, как постулат редкости в наши дни. Но у него человеческие потребности неизменно предполагали институты и обычаи.

Приверженность Аристотеля субстантивистскому пониманию экономики была основой всей его аргументации. Почему вообще он должен был исследовать экономику? И почему он должен был пустить в ход целый набор аргументов против общепринятого представления о том, что значимость этой неясно понимаемой сферы обусловлена соблазном богатства, неизменно притягательным для всякого человеческого духа? Для чего он развивал теорию, объясняющую происхождение семьи и государства и имевшую единственную цель — продемонстрировать, что желания и потребности человека не являются неограниченными и что полезные вещи не являются редкими по своей сути? Каковы были мотивы для отстаивания этой изначально парадоксальной точки зрения, которая к тому же должна была казаться слишком умозрительной в контексте его явно выраженной склонности к эмпирическому знанию?

Объяснение очевидно. Две политические проблемы — торговля и цена — требовали ответа. Без увязки вопросов торговли и ценообразования с требованиями выживания и самодостаточности сообщества не существовало разумного способа для оценки обоих этих явлений, будь то в теории или на практике. Если такая связь выявлялась, то ответ становился простым. Во-первых, торговля, которая способствовала восстановлению самообеспеченности, была в согласии с природой; торговля, которая не служила этому, противоречила природе. Во-вторых, цены должны быть такими, чтобы они могли укреплять узы сообщества: в противном случае обмен не сможет поддерживаться на постоянной основе и сообщество прекратит свое существование. Связующим звеном в обоих случаях служила самообеспеченность общества. Таким образом, экономика имела дело с предметами первой необходимости — зерном, маслом, вином и т.д., на которых зиждилась жизнь общества. Вывод был строгим и исключал возможность других выводов. Или экономика — это то, что касается материальных вещей, субстанции, поддерживающей жизнь человеческих существ, или в противном случае не существует эмпирически данной рациональной связи между такими вопросами, как торговля и цены, с одной стороны, и постулат о самообеспеченности сообщества — с другой. Поэтому логиче-

ская необходимость настаивать на субстантивистском понимании экономики для Аристотеля очевидна.

Отсюда эта поразительная атака на поэму Солона во вступлении к исследованию экономики.

ЕСТЕСТВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА

Коммерческая торговля, или, в наших терминах, рыночная торговля, выросла в сложившихся тогда обстоятельствах в очень злободневный вопрос. Это было нечто новое, то, что вызывало беспокойство: его не с чем было сопоставить, оно не находило объяснения и не получало адекватной оценки. Теперь деньги зарабатывались почтенными гражданами посредством простой купли и продажи. Ранее такое было неведомо или, вернее, наблюдалось лишь среди лиц низшего класса, известного как барышники (как правило, метеки), которые перебивались мелкой торговлей продовольственными товарами на рыночной площади. Свою прибыль они получали, покупая по одной цене и продавая по другой. Теперь эта практика на глазах распространилась и на граждан, занимающих достойное положение, причем они стали получать большие деньги способом, который ранее считался неприличным.

Как следовало классифицировать само это явление? Какое объяснение следовало дать прибыли, систематически получаемой таким образом? И как следовало оценить такую деятельность?

Появление институтов рынка само по себе — вопрос сложный и запутанный. Трудно с точностью выявить их зарождение и еще труднее проследить стадии, которые прошла торговля от ранних форм до рыночной торговли.

Анализ Аристотеля попал в самую точку. Называя коммерческую торговлю *kapelike* – этому еще не было дано названия, — он намекал, что в этом явлении нет ничего нового, за исключением масштабов, которые оно приняло. Это было барышничеством на широкую ногу. Деньги делали сами себя (ар 'allelori) за счет добавок к цене, так часто встречаемых на рыночной площади.

Мысль Аристотеля, хотя и не давала адекватного представления о взаимных добавках к ценам, но отразила важнейший переходный этап в истории экономики, тот узловой пункт, начиная с которого институт рынка вышел на орбиту торговли.

Одним из первых городских рынков, если не самым первым, была афинская *агора*. Ничто не указывает на то, что она появилась одновременно с основанием города. Первая достоверная запись об

агоре относится к V веку до нашей эры, когда она уже определенно возникла, но еще вызывала споры. На протяжении всей ее ранней истории использование мелкой монеты и розничная торговля продовольствием шли рука об руку. Их зарождение в Афинах следует поэтому соотносить с чеканкой оболов где-то в начале VI века до нашей эры. На территории Азии эти явления могли иметь предшественников в Сардах, столице Лидии, — городе, по всем данным, истинно греческого типа. Здесь также появляются следы мелкой разменной монеты, особенно если мы отнесем сюда, как это и следует сделать, использование золотой пыли. По этому вопросу Геродот оставляет мало сомнений. Легенда о Мидасе констатирует наличие во Фригии огромного количества речного золота около 715 года до нашей эры, тогда как в Сардах через саму рыночную площадь протекал золотоносный ручей Пактолус. На родине Геродота, в Галикарнасе, стоял огромный памятник Алиатту, стоимость которого во многом была оплачена взносами тех, кто торговал любовью лидийских девушек. Тогда же Гиг, основатель династии Мермнадов, судя по всему, выступил инициатором чеканки электрона[11]. Сын Алиатта Крез украсил Дельфы роскошью своих массивных золотых даров. В Малой Азии остались неизвестными бусы или раковины, которые могли бы использоваться в качестве материала для денег. В этой связи упоминание о золотом песке является решающим. Велика вероятность, что эти две лидийские инновации — чеканка монет и розничная продажа продуктов питания — были внедрены в Афинах одновременно. Тем не менее они ни в коем случае не были еще неотделимыми друг от друга. Эгина[12], которая опередила Афины в области чеканки, использовала монеты, возможно, только во внешней торговле. Так же могло обстоять дело и с лидийскими монетами, при том что на рынке продовольствия и в любовных сделках использовался золотой песок. До сих пор рыночная площадь в городе Бида, столице племени нуле в Нигерии, как говорят, превращается после полуночи в торжище услуг телесного общения, где золотой песок циркулирует в роли денег. Впрочем, в Лидии наличие золотого песка могло дать импульс и розничной торговле продовольствием. Аттика последовала этому примеру, заменив, однако, крошки золота частицами оболов серебра.

[11] Электрон — природный сплав золота и серебра. — *Прим. ред.*

[12] Эгина — остров и одноименный город к юго-востоку от Пирея, важный торговый центр. Экономический и культурный расцвет относится к VI—V векам до нашей эры. — *Прим. ред.*

В целом монеты распространялись быстрее, чем рынки. В то время, когда торговля была уже известна повсюду и использование денег как мерила стало повсеместным, число рынков было небольшим и они оставались весьма удаленными друг от друга.

К концу IV века Афины славились своей агорой, где каждый мог дешево купить еду. Чеканка монеты распространялась со скоростью лесного пожара, но за пределами Афин рыночная торговля была не особенно популярна. Во время Пелопоннесской войны флотилии торговцев сопровождали военный флот, поскольку войска только в редких случаях могли рассчитывать на снабжение с местных рынков. Даже в начале IV века в районе Ионических островов не было постоянных продовольственных рынков. Главным фактором развития рынков были в то время греческие армии, особенно наемные войска, которые тогда стали все чаще использоваться как род бизнеса. Традиционная армия, состоявшая из тяжеловооруженных, с собственной экипировкой пехотинцев (гоплитов), использовалась только для коротких кампаний, на которые хватало мешка ячменных лепешек, приносимых из дома. Ближе к V веку появились регулярные экспедиционные войска, кадровый состав которых формировался из граждан Спарты или Афин, а основная масса нанималась за границей. Применение таких сил, особенно если предполагалось, что им предстоит пересекать дружественную территорию, вызывало проблемы со снабжением, которые любили комментировать ученые генералы.

Трактаты Ксенофонта дают много примеров, в которых рынку стала предписываться роль, фактическая и идеальная, в новой военной стратегии. Рынок продовольствия, за счет которого войска могли снабжать себя, используя карманные деньги, выдаваемые им военачальником (в том случае, если реквизиции у местного населения были невозможными), был частью более широкого плана. Он включал продажу награбленного добра, особенно рабов и крупного рогатого скота, а также обеспечение армии со стороны торговцев, которые следовали за ней в надежде заработать. Все это порождало множество рыночных проблем. Обращаясь к каждой, мы получаем свидетельства об организационной и финансовой деятельности, инициированной царями, генералами или правительствами, ответственными за военные дела. Что касается самой кампании, то она зачастую была не чем иным, как организованным походом за добычей, а то и вовсе сводилась к сдаче внаем на службу другому правительству целой армии в расчете на выгоду для своей страны, которая и финансировала это предприятие из коммерческих интересов.

Военная эффективность была, конечно, самым главным требованием. Продажа военной экспедицией захваченной добычи, даже если она вызывалась соображениями военной тактики, была таким же элементом эффективности, как и регулярное снабжение войск, но позволяла избегать, насколько это было возможно, недовольства со стороны дружественных нейтральных государств. Предприимчивые генералы использовали соответствующие ситуации методы стимулирования деятельности местных рынков. Они финансировали торговцев, с тем чтобы те обслуживали войска, привлекая местных ремесленников на импровизированные рынки вооружения. Они поощряли снабжение рынка и рыночные услуги всеми имеющимися в их распоряжении средствами, какой бы неопытной и нерешительной ни была порой местная инициатива. Так что рассчитывать на стихийное зарождение духа предпринимательства у местных жителей особо не приходилось. Спартанское правительство направляло гражданскую комиссию продавцов добычи вместе с царем, который командовал армией, на поле сражения. В их задачу входила аукционная распродажа пленных рабов и захваченного скота прямо на месте. Царь Агесилай заботился о том, чтобы рынки были подготовлены, устроены и предоставлены в распоряжение его войск союзными городами по всему намечаемому маршруту следования. В «Киропедии» Ксенофонт описал, как любой торговец, который хотел сопровождать армию и нуждался в деньгах для оборота, мог бы обратиться к командующему и после представления рекомендаций о своей надежности получить деньги из фонда, служащего для этой цели[13]. Примерно в то же время афинский генерал Тимофей, озабоченный финансовыми проблемами торговцев, в том же духе, как указано в воспитательном трактате Ксенофонта, действовал на практике. Во время Олинфской войны (364 год до нашей эры), после того как он стал платить своим солдатам медью вместо серебра, ему удалось убедить торговцев принимать ее от солдат по той же стоимости, твердо пообещав, что медь будет приниматься на тех же условиях при закупках добычи, а все, что останется у торговцев после этих закупок, будет возмещено в серебре[14]. Эти примеры призваны показать, как мало тогда можно было полагаться на местные рынки и в качестве источника снабжения армии, и в качестве канала сбыта награбленного, если только такие рынки не поощрялись самими военными.

[13] Ксенофонт. Киропедия. VI ii 38 f.

[14] Pseudo-Aristotle. Oeconomia. II 23a.

Так что местные рынки во времена Аристотеля пребывали еще в нежном возрасте. Они создавались по случаю или для какой-либо определенной цели, к тому же не без учета политической целесообразности. Причем местный продовольственный рынок еще никоим образом не стал элементом дальней торговли. Правилом было раздельное существование (внешней) торговли и рынка.

Институт, которому в конечном счете надлежало связать их вместе, — ценообразующий механизм спроса и предложения — был неизвестен Аристотелю. Конечно, именно этот механизм положил начало тем коммерческим практикам, которые стали проявляться в торговле. Традиционно (внешняя) торговля не несла на себе и следа коммерции. Будучи по своему происхождению полувоенным занятием, она никогда не отрывалась от властных структур, в стороне от которых при архаических условиях могла существовать только очень мелкая торговля. Выигрышем служили награбленная добыча и дары (добровольные или полученные шантажом), общественные почести и награды, золотая корона и земельный надел от князя или города, приобретенное оружие и предметы роскоши — как в легенде о награде Одиссея. Все это не имело никакого отношения к местному продовольственному рынку *полиса*. Финикийский emporos[15] выставлял свои сокровища и безделушки во дворце язя или в зале господского дома, в то время как его люди должны были каждый год обустраиваться на чужой земле, чтобы выращивать собственные продукты. Позже формы торговли вошли в свои административные колеи, сглаживаемые любезностью чиновников торгового порта. Цены определялись в основном обычаем или договором. Торговец, если ему не причиталась компенсация в виде комиссионных, получал свою прибыль из выручки от импорта, что и составляло цель всего предприятия.

Договорные цены были предметом долгого дипломатического торга. С момента заключения договора торг прекращался, так как это означало установление фиксированной цены, по которой торговля и осуществлялась. Поскольку без договора торговля не велась, то его наличие не оставляло поля действия рынку. Торговля и рынки имели не только разные локализацию в пространстве, статус и персонал, они отличались также целями, нравами и организацией.

Мы еще не можем сказать определенно, когда и в какой форме торг из-за цены и прибыль от разницы в ценах вошли в практику торговли, как это подразумевается у Аристотеля. Даже при от-

[15] Купец. — *Прим. ред.*

сутствии международных рынков заморская торговля приносила нормальный доход. Однако не может быть сомнения, что острый взгляд теоретика уловил связь между мелкими уловками розничного торговца агоры и теми способами получения торговой прибыли, о которых стали столько говорить в его время. Но механизм, определивший их родство, — ценообразование на основе игры спроса и предложения — ускользнул от Аристотеля. Распределение продуктов питания через рынок давало пока очень мало простора для действия этого механизма, тогда как дальняя торговля направлялась не индивидуальной конкуренцией, а институциональными факторами. Ни местные рынки, ни дальняя торговля не отличались колебаниями в ценах. В международной торговле действие ценообразующего механизма спроса и предложения стало заметным не ранее III века до нашей эры. Сначала это произошло с зерном, а позже затронуло рабов в открытом порту Делос[16]. Поэтому можно сказать, что афинская агора примерно на два века опередила возникновение в районе Эгейского моря такого рынка, о котором можно говорить, что в нем нашел воплощение рыночный механизм. Аристотель, который писал во второй половине этого периода, сумел разглядеть в ранних примерах получения прибыли от разницы в ценах характерные признаки изменений в организации торговли, как это и было на самом деле. И все же в предположении, что новая страсть к деланию денег в состоянии послужить какой-либо полезной цели, он не смог — при отсутствии ценообразующих рынков — увидеть ничего, кроме извращения. Что касается Гесиода, то его дифирамбы мирной борьбе никогда не шли дальше поощрения участников дорыночного соревнования на уровне поместья: похвалы — горшечнику, куска туши — дровосеку, подарка — певцу-победителю.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ В ОБМЕНЕ

Данный раздел призван избавить от представления, будто Аристотель предлагал в своей «Этике» теорию цен. Такая теория имеет действительно ключевое значение для понимания рынка, главная функция которого — формирование цены, уравновешивающей спрос и предложение. Ни одно из этих понятий, однако, Аристотелю знакомо не было.

[16] Делос — остров в Эгейском море, с 477 года до нашей эры — финансовый центр Афинской морского союза, со II века до нашей эры до 69 года до нашей эры — крупный торговый центр. — *Прим. ред.*

Постулат о самодостаточности подразумевал, что только торговля, необходимая для восстановления самодостаточности, была естественной и поэтому правильной. Торговля осуществлялась посредством актов обмена, что опять же подразумевало определенную пропорцию обмена. Но как вписать акты бартерного обмена в рамки сообщества? И если бартер существует, то по какому соотношению он должен осуществляться?

Что касается происхождения бартера, то ничто не могло быть более убедительным для философа Gemeinschaft, нежели смитовское предположение о склонности к обмену, якобы присущей индивиду. Обмен, говорил Аристотель, возник из потребностей разросшейся семьи, члены которой первоначально сообща пользовались вещами, которыми сообща и владели. Когда их численность возросла и они были вынуждены поселиться порознь, то вдруг обнаружилось, что им не хватает каких-то вещей, которыми они ранее пользовались сообща и которые теперь приходится получать друг у друга[17]. В результате они стали делиться друг с другом[18]. Короче, взаимность такой помощи достигалась в форме бартера[19]. Отсюда — обмен.

Пропорция обмена должна быть такой, чтобы она могла поддерживать отношения в сообществе[20]. Руководящим принципом опять-таки были не интересы индивидов, а интересы сообщества. Умения людей различного статуса должны обмениваться по норме, пропорциональной статусу каждого: продукт работы строителя обменивался на многократно умноженный продукт работы сапожника. Иначе бы взаимность нарушилась, и сообщество не сохранилось[21].

Аристотель предложил формулу, по которой пропорция обмена (или цена) должна была устанавливаться[22]: она определяется точкой пересечения двух диагоналей, каждая из которых отражает статус одной из двух сторон[23]. Точка формально находится при помощи четырех величин — по две для каждой диагонали. Метод оказался невнятным, результат неточным. В экономической теории

[17] Аристотель. Политика. 1257a 24 // Аристотель. Сочинения. Т. 4.

[18] Там же. 1257a 19.

[19] Там же. 1257a 25.

[20] Аристотель. Никомахова этика. 1133b 16, 1133b 8.

[21] Там же. 1133b 29.

[22] Там же. 1133a 8.

[23] Там же. 1133a 10.

четыре определяющих величины представлены правильно и четко путем выделения пары показателей на кривой спроса и пары показателей на кривой предложения — они и задают цену, расчищающую рынок. Решающее различие состояло в том, что современный экономист имел своей целью *описание* рыночного *ценообразования*, но подобная мысль была далека от сознания Аристотеля. Он был занят совершенно другой, по своей сути практической проблемой — выводом формулы, по которой *цену следовало устанавливать*.

Довольно неожиданно, что Аристотель, похоже, не видел другой разницы между заранее установленной ценой и ценой, полученной в результате торга, кроме разницы во времени: первая из этих цен существовала до того, как происходила сделка, а вторая — появлялась позже[24]. Цена, возникающая в ходе торга, настаивал он, будет, скорее всего, чрезмерной, поскольку договариваться о ней приходится в ситуации, когда спрос еще не удовлетворен. Уже одного этого достаточно, чтобы убедиться в наивности представлений Аристотеля о функционировании рынка. Очевидно, он был уверен в том, что справедливо установленная цена должна отличаться от цены, получаемой в процессе торга.

Заранее установленная цена помимо справедливого характера имела и то преимущество, что позволяла отделить естественную торговлю от неестественной. Коль скоро цель естественной торговли заключается исключительно в том, чтобы восстанавливать самодостаточность, предварительная фиксация цены обеспечивает это условие за счет исключения прибыли. Эквивалентность (как мы далее будем называть заранее установленную пропорцию обмена) призвана поэтому предохранять естественную торговлю. В результате торга цена может принести прибыль одной из сторон за счет другой и таким образом подорвать единство сообщества, вместо того чтобы служить его предпосылкой.

Для современного, приспособленного к рынку ума рассмотренная здесь и приписываемая Аристотелю мысленная цепочка должна казаться серией парадоксов.

В ней нет места представлениям о рынке как двигателе торгов, о ценообразовании как функции рынка, о наличии у торговли иных функций, кроме обеспечения самодостаточности, о причинах, по которым заранее установленная цена может отличаться от цены, сложившейся на рынке, и рыночные цены должны колебаться, наконец, о конкуренции как механизме, формирующем цену, которая

[24] Аристотель. Никомахова этика. 1133б 15.

уникальна тем, что расчищает рынок и может поэтому считаться (единственной) естественной нормой обмена.

Вместо этого рынок и торговля рассматриваются здесь как раздельные и различные институты: цены — как создаваемые обычаем, законом или соглашением; прибыльная торговля — как неестественная; заранее установленная цена — как естественная; колебания цен — как нежелательные и естественная цена — как выражение взаимной оценки статусов производителей, а вовсе не объективная оценка обмениваемых товаров.

Для разрешения этих кажущихся противоречий понятие «эквивалентность» оказывается определяющим.

В ключевом фрагменте о происхождении обмена (allage) Аристотель дал предельно точную характеристику этому основному институту архаического общества — обмену по эквивалентностям. Увеличение размера семьи означало конец ее самодостаточности. При отсутствии то одной вещи, то другой члены семьи были вынуждены восполнять нехватку чего-либо, опираясь друг на друга. Некоторые варварские народы, по словам Аристотеля, все еще практикуют подобный обмен натурой: «Они обмениваются между собой только предметами необходимости: например, они обменивают вино на хлеб и наоборот [столько, сколько требуют обстоятельства и не более... и так с каждым их видом]. Такого рода [обмен] не против природы и вовсе не является разновидностью искусства наживать состояние, ведь его назначение — восполнять то, чего недостает для согласной с природой самодовлеющей жизни»[25].

Институт обмена по эквивалентностям был предназначен для обеспечения порядка, при котором все домохозяева могут претендовать на долю необходимых продуктов в установленной пропорции в обмен на продукты, которые оказались в их собственном распоряжении. Ни от кого не требовалось в ответ на просьбу отдавать свое добро, не получая ничего взамен. Так, бедняку, у которого не было никакого эквивалента для обмена, надлежало свой долг отработать (отсюда огромная социальная важность института долгового рабства). Таким образом, бартер произошел из института распределения предметов жизненной необходимости; бартер был призван обеспечить всех домохозяев этими предметами до уровня достаточности; это было институционализировано в качестве обязанности домохозяев, чтобы те отдавали часть своего излишка необходимых продуктов любому другому домохозяину, у которого слу-

[25] Аристотель. Политика. 1257a 24–31. С. 391.

чилась нехватка соответствующего конкретного продукта, по его просьбе в меру этой нехватки, и только в этих пределах; обмен совершался в установленной пропорции (эквивалентности) на другие продукты жизненной необходимости, имеющиеся у данного домохозяина в запасе. Если это выразить в юридических терминах, насколько это возможно применить к столь примитивным условиям, обязательство домохозяина касалось такой бартерной сделки, размер которой ограничен величиной, характеризующей нужду истца в данный момент, которая совершается в эквивалентной пропорции с исключением кредита и предметом которой могли быть все жизненно необходимые продукты.

В «Этике» Аристотель подчеркивал, что, несмотря на эквивалентность обмениваемых товаров, одна из сторон оказывалась в выигрышном положении, а именно та, которая была вынуждена предложить эту сделку. Тем не менее в конечном счете процедура сводится к взаимности, поскольку в другое время наступал черед другой стороны выиграть от этой возможности. «Дело ведь в том, что и государство держится на пропорциональном ответном деянии... иначе [никто не передаст (свои припасы)], между тем как вместе держатся благодаря [такой] передаче, недаром храмы богинь дарения ставят на видном месте: чтобы воздаяние осуществилось, это ведь и присуще благодарности — ответить угодившему услугой за услугу и в свой черед начать угождать ему»[26]. Ничто, на наш взгляд, не может лучше показать значение взаимности, чем это разъяснение. Это можно назвать открытостью для взаимности. Обмен здесь выступает элементом поведения, основанного на взаимности в противовес рыночному взгляду, который наделил бартер качествами, прямо противоположными щедрости и милосердию, сопутствовавшими идее взаимности.

Если бы не эти принципиальные разъяснения, мы, возможно, все еще были бы не в состоянии идентифицировать такой жизненно важный институт архаического общества, несмотря на груды документальных свидетельств, раскопанных последними двумя-тремя поколениями археологов. Цифры, выражающие математические соотношения между единицами продуктов разного рода, всюду переводились ориенталистами как цена, ибо существование рынков подразумевалось как нечто само собой разумеющееся. В действительности эти цифры обозначали эквивалентность, совершенно не связанную с рынками и рыночными ценами; их фиксированность

[26] Аристотель. Никомахова этика. 1133б 1–5. С. 155.

была врожденной, не предполагающей никаких предшествующих колебаний, завершаемых неким процессом установления или фиксирования цены — именно этот образ подсказывается самими этими выражениями. Но язык в данном случае нас обманывает.

ТЕКСТЫ

Здесь не место останавливаться на многочисленных вопросах, по которым наше представление о предмете отличается от представлений наших предшественников. Однако мы должны вкратце вернуться к самим текстам. Формирование ошибочного представления о предмете рассуждений Аристотеля было почти неизбежным. Коммерческая торговля, которая, как считалось, служила таким предметом, в его время, что теперь выяснилось, только начинала практиковаться. Этот процесс получил развитие не в Вавилоне времен Хаммурапи, а более чем тысячу лет спустя — в грекоязычной части Западной Азии и в самой Греции. Аристотель поэтому не мог описывать работу развитого рыночного механизма и обсуждать его влияние на этику торговли. Кроме того, оказалось, что некоторые из его ключевых терминов, особенно kapelike, metadosis и chrematistike, были ложно истолкованы при переводе. Ошибки порой малозаметны: термин kapelike передавался как «искусство розничной торговли» вместо «искусство коммерческой торговли», chrematistike — как «искусство делать деньги» вместо «искусство делать запасы», то есть обеспечивать себя необходимыми жизненными средствами. Но иногда искажение очевидно: metadosis был принят за «обмен» или «бартер», заведомо означая нечто совсем противоположное, а именно передачу своей доли.

Вкратце остановимся на этих вопросах по порядку.

Kapelike грамматически означает искусство kapelos. Значение слова kapelos, как его использовал Геродот в середине V века, указывает на некоего розничного торговца, прежде всего продовольственными товарами, хозяина харчевни, продавца продуктов питания и готовой пищи. Начало чеканки монет было увязано Геродотом с тем фактом, что лидийцы превратились в kapelos. Геродот также пишет, что у Дария прозвище было Kapelos. И действительно, именно при нем военные склады стали практиковать продажу продуктов питания в розницу. Наконец, слово kapelos превратилось в синоним слов «обманщик, мошенник, плут». Свое уничижительное значение это слово имело изначально.

К сожалению, все это еще оставляет открытым вопрос о значении слова kapelike у Аристотеля. Суффикс -ike означает «искусство

чего-то», что делает kapelike означающим искусство kapelos. Собственно говоря, такое слово не было в употреблении; словарь приводит только один пример (помимо Аристотеля), и в этом случае оно означает, скорее всего, «искусство торговли в розницу». Как и когда получилось, что Аристотель ввел его для обозначения предмета первостепенной важности, никоим образом не сводимого к розничной торговле, а именно коммерческой торговли? Ибо это и ничто иное, без всякого сомнения, и составляет предмет его рассуждений.

Найти ответ не трудно. В своей страстной диатрибе против торговли ради прибыли Аристотель использовал слово kapelike *с* ироническим оттенком. Коммерческая торговля не была, конечно, простым барышничеством, не была она и розничной торговлей. И чем бы она ни была, она заслуживала называться термином, производным от emporia, что было обычным обозначением мореходной торговли, как и любой другой формы крупномасштабной, или оптовой, торговли. Когда Аристотель специально касался разнообразных видов морской торговли, он обращался к термину emporia в его обычном смысле. Почему он не поступил так же в основном теоретическом анализе предмета, воспользовавшись вместо этого новомодным словом, допускавшим уничижительное толкование?

Аристотелю нравилось изобретать новые слова, и его юмор, иногда встречающийся, был похож на юмор Бернарда Шоу. Фигура kapelos была неизменным героем комической сцены. Аристофан в комедии «Ахарняне» заставил своего героя превратиться в kapelos и в этом виде завоевать торжественную похвалу хора, превозносящего его как философа дня. Аристотель очень хотел передать свое неприятие *нуворишей* и их якобы тайных источников богатства. Ничего таинственного коммерческая торговля собой не представляла. Говоря без обиняков, это не что иное, как барышничество на широкую ногу.

Chrematistike намеренно использовалось Аристотелем в буквальном смысле как «обеспечение предметами первой необходимости», а не в привычном значении «делание денег». Лейстнер правильно передал это слово как «искусство снабжения», а Эрнест Баркер в своем комментарии напомнил о первоначальном значении слова chremata, что, предупреждал он, означало не деньги, а сами предметы необходимости — толкование, поддержанное Дефурни и М. И. Финли в неопубликованной лекции. На самом деле для Аристотеля акцент на неденежном значении слова chremata был логически неизбежным, поскольку он придерживался постулата о само-

достаточности, который не имел смысла вне контекста натуралистического толкования богатства.

Знаковая ошибка в переводе термина metadosis как «обмен» в трех решающих фрагментах «Политики» и «Этики» имеет более глубокие корни[27]. В случае со словом metadosis Аристотель придерживался общепринятого его значения. Именно переводчики внесли произвольное толкование. В архаическом обществе общих трапез, набегов и других актов взаимной помощи и практических проявлений взаимности термин metadosis обладал специфической смысловой нагрузкой — это слово означало «дать долю», особенно в отношении к общей трапезе, шла ли речь о религиозном празднестве или церемониальном приеме пищи либо о другом общественном мероприятии[28]. Таково словарное значение слова metadosis. Его этимология подчеркивает односторонний характер действия, связанного с передачей, внесением вклада во что-то, выделением чего-то. И все же перед нами поразительный факт: при переводе тех фрагментов, где Аристотель настаивал на том, что обмен произведен от metadosis, этот термин передавался как «обмен» или «бартер», что превращало его в свою противоположность. Такая практика была санкционирована ведущим словарем, который для этих трех решающих фрагментов предусмотрел в качестве исключения особое значение термина metadosis. Такой отход от ясного текста можно понять только как выражение «прорыночного» уклона со стороны позднейших переводчиков, которые в этом месте оказались не в состоянии разобраться в истинном значении оригинала. Обмен для них был естественной склонностью людей и не требовал объяснений.

Но даже если это так, «обмен», конечно, не мог возникнуть из etadosis в его общепринятом значении «давать долю». Соответственно, переводя metadosis как «обмен», они тем самым сделали утверждение Аристотеля пустым трюизмом. Эта ошибка подрывает все здание экономической мысли Аристотеля в его центральной точке. Выводя обмен из «предоставления своей доли», Аристотель устанавливал логическую связь между своей теорией экономики и насущными практическими вопросами. Коммерческую торговлю, как мы помним, он считал неестественной формой торговли; естественная торговля не приносила прибыли, поскольку она всего лишь поддерживала самодостаточность. В поддержку этого тези-

[27] Pseudo-Aristotle. Oeconomia. II, 1353a 24–28.

[28] Ibid. 1133a 2; Аристотель. Политика. 1257a 24; 1280b 20.

са он мог с успехом сослаться на то обстоятельство, что в ограниченном размере, требуемом для самодостаточности, причем только в этом размере, натуральный обмен предметами первой необходимости все еще широко практиковался некоторыми варварскими народами. Подобный обмен осуществлялся согласно установленным эквивалентным соотношениям, принося в зависимости от случая выгоду то одному, то другому.

Таким образом, выведение обмена из акта внесения вклада одного человека в общий котел было той деталью, которая связывала воедино теорию экономики, базирующуюся на постулате самодостаточности сообщества, и разграничение между естественным и неестественным видами торговли. Но все это представлялось настолько чуждым для рыночного мышления, что переводчики нашли спасение в том, чтобы поставить текст с ног на голову, и в конечном счете утратили смысл приводимых доводов. Пожалуй, самый дерзкий тезис Аристотеля, который должен был бы до сего дня будоражить ум мыслящих людей своей оригинальностью, оказался в результате сведен к банальности, которая, если бы она вообще несла какой-либо определенный смысл, была им отвергнута как слишком мелкий взгляд на те фундаментальные силы, что лежат в основе хозяйственной деятельности человека.

ВЗГЛЯДЫ НА МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ОБЩЕСТВЕ: ОТ ШАРЛЯ МОНТЕСКЬЕ ДО МАКСА ВЕБЕРА[1]

Чтобы создать адекватный методологический фундамент для изучения общей экономической истории, необходимо преодолеть неосознанное влияние определений, разработанных на данный момент в области экономического анализа. Поэтому было бы полезным взглянуть с высоты птичьего полета на историю экономики от Монтескье и физиократов до Маркса, Менгера, а также Макса Вебера. В данном контексте термин «экономика» мы используем в самом широком смысле, в котором изучение экономических институтов, а также законов, регулирующих систему рыночного ценообразования, объединено таким образом, что экономическая история и экономическая теории сливаются в этом термине.

Следует остановить наше внимание на двух моментах:

1. Как глубоко укоренено предположение о самостоятельности экономической системы и как глубоко, напротив, укоренено мнение, основанное на подходе к обществу как к целому, в котором экономическая сторона составляет всего лишь один из аспектов?
2. Какие предположения по поводу фактических психологических мотивов (хозяйствующих индивидов) лежат в основе взглядов авторов? Насколько много внимания они уделяют предположению о существовании специфически экономических мотивов?

Мы составили в хронологическом порядке список основных мыслителей-экономистов, в соответствии с нашим критерием разделив их на пять групп:

[1] Karl Polanyi, "Views on the Place of the Economic System in Society from Montesquieu to Max Weber", in G. Dalton (ed.), *Primitive, Archaic, and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi.* Boston: Beacon Press, 1968, p. 122–138. Перевод Н. А. Розинской.

1. Первоначальный социетальный подход:
   - Шарль Монтескье (1748);
   - Франсуа Кенэ (1758);
   - Адам Смит (1776).
2. Первоначальный экономистический подход:
   - Джозеф Таунсенд (1786);
   - Томас Мальтус (1798);
   - Давид Рикардо (1817).
3. Возвращение к социетальному подходу:
   - Генри Кэри (1837);
   - Фридрих Лист (1841);
   - Карл Маркс (1859).
4. Возвращение к экономистическому подходу:
   - Карл Менгер (1871).
5. Синтез 3 и 4:
   - Макс Вебер (1905).

В целом движение имело форму маятника, качаясь от социетального к экономистическому подходу и обратно — от значения термина «экономический» в смысле «обеспечение материальными товарами» до значения «преследование выгоды» или «деловой подход»; от широкого взгляда, который заостряет свое внимание на обществе как целом, до более узкого взгляда, который концентрируется на экономической системе как на институционально отдельной и четко определяемой сфере общества.

1. Исходный стартовый момент был социетальным: Монтескье, Кенэ и Адам Смит разделяли эту точку зрения.

2. При Мальтусе и Рикардо политическая экономия оторвалась от понимания общества как целого.

3. Реакция против классиков охватила весь мир, ее направления многочисленны и связаны с именами Генри Кэри, Листа и Маркса. Этот откат назад, к социетальному подходу, был институционалистским и историческим. (Шмоллер и его школа в Германии, а также Веблен и его, даже еще более важная, школа в Соединенных Штатах относятся, конечно, к этому контексту.)

4. Атака на неосоциетальную школу началась раньше всего в Германии, еще при жизни Маркса и Шмоллера. Неоклассики представляли собой возвращение к экономистическому подходу в логически экстремальной форме. Это движение также охватило весь мир.

5. Примерно в начале [двадцатого] века Макс Вебер явился инициатором синтетического движения — движения огромной важности для экономической истории как науки — путем возвращения

к социетальному подходу, но на этот раз с акцентом на рационалистический аспект экономики как таковой. Это представляло собой компромисс между социетальной и экономистической точками зрения, которые обе оказались плодотворными. Макс Вебер, однако, формулировал свои взгляды до последних важнейших открытий в области примитивной экономики и до того, как было четко осознано влияние его собственных взглядов на вопрос о происхождении капитализма. Более того, ход истории после смерти Вебера проявил тенденцию отвергнуть его догматическую веру в необходимо возрастающее господство целенаправленной рациональности в экономической области.

ШАРЛЬ МОНТЕСКЬЕ (1748)

На современном языке тезис Монтескье заключался в том, что общественные институты отражают потребности этого общества в данных условиях. Экономические институты также были сформированы в соответствии с их функцией в рамках общества в целом. Монтескье определял коммерцию как «экспорт и импорт товаров с целью получить выгоду для государства» [стр. 348]. «Принуждение купца, — писал он, — это не принуждение коммерции. Даже в самых свободных странах купец встречается с бесчисленными препятствиями. Англичане принуждают купца, но это делается в пользу коммерции». Монтескье заявлял, что он отбрасывает использование денег на благо плановой экономии (так как это понимается иезуитами в Парагвае). Многие из его взглядов отражали меркантилистские теории и практики. Однако из этого можно сделать вывод, что некоторые из этих видов практики не могли быть так уж «абсурдны», как это утверждает У. Липпманн в его труде «Хорошее общество» [стр. 10]. Если физиократы рассматриваются как основатели [экономической теории как] общественной науки, то Монтескье был предвестником институциональной школы этой науки. Его подход был социологическим, историческим, антропологическим и институциональным — по существу, он сочетал в себе черты современного подхода.

ФРАНСУА КЕНЭ (1758)

Физиократы расширили социетальный подход Монтескье в отношении экономической жизни. Но, в то время как его вдохновением было единство общества в том его виде, которое выражалось

в органической концепции средних веков, органическая концепция Кенэ была по своей сути биологической. Он имел медицинское образование, и его труд Essai physique sur l economie animale[2] (1736) был посвящен физиологии и отражал две идеи — открытие Харви (Harvey) циркуляции крови (1626) и его гиппократское отношение к болезни при опоре на излечивающие силы природы. (В своей философии Кенэ использовал слово «экономика» в смысле животноводства или домашнего хозяйства, занимающегося скотоводством.) Двуединые идеи природной циркуляции и опоры на лечащие силы природы были выражены в самом оригинальном труде Кенэ — его вкладе в общественные науки, а именно в его Tableau economique[3] (1758). Именно здесь впервые человеческая экономика (или по меньшей мере приближение к ней) была представлена в виде цикличного процесса. (На К. Маркса это достижение произвело огромное впечатление, и он последовал вслед за Кенэ в своем «Капитале», стремясь выработать схему подобного же цикла в отношении к капиталистической экономике.) «Таблица» Кенэ показала циркуляцию produit net[4] в общественном теле. Produit net был предполагаемым излишком, который остался от годового урожая после того, как были вычтены все авансы и капиталовложения (включая прибыль фермера). Сама природа произвела такой излишек — это было основным догматом физиократов. Конечно, это было ложное суждение, каким бы образом мы ни интерпретировали это.

Наука, основанная физиократами, была наукой об обществе, а не наукой об экономике. Они были сектой, основывающейся на общественных философских догматах, сторонников законов природы и правил природы (или физиократией). Они называли себя экономистами, потому что, по их мнению, здоровье общества и государства основывалось на природных законах, подобных тем, которые регулируют домашнее хозяйство животновода. Несмотря на «Таблицу», их философия относилась не столько к экономической жизни, сколько к государству и обществу в целом.

Школа Курно — та, от которой пошел лозунг laissez faire, — отличалась от школы физиократов. Последние выступали не только за законодательно закрепленный абсолютизм (legal absolutism) и за сохранение феодального режима, но также и за научно обо-

[2] Очерк о природных основах экономики живого организма.

[3] Экономическая таблица.

[4] Чистый продукт.

снованный систематический интервенционализм. Как врач, который верит в лечебные силы природы и применяет лечение таким способом, чтобы помочь работе природы, так и физиократы думали, что они открыли законы, согласно которым природа совершает свою работу в обществе, и полагали, что задачей властей является вмешиваться именно таким путем, каким можно устранить препятствия на пути сил природы и поддерживать деятельность этих сил.

Таково разъяснение трех наиболее важных документов физиократов. Они представляют собой вполне современную концепцию. Этими документами являлись следующие: (1) «Экономическая таблица» (Tableau economique); (2) общие принципы (Maximes), примерное количество которых равнялось 25, опубликованные в «Энциклопедии»; (3) периодические обзоры с описаниями и статистикой (Details). В Tableau говорилось о циркуляции богатства в общественном теле в соответствии с ordre naturel[5]; Maximes закладывали принципы лечения или политики; Details, или исследования, должны были предоставлять фактические (или количественные) данные, чтобы политика могла бы применяться научно. Очевидно, метод содержал очень ценные элементы, но, к сожалению, та мнимая наука, на которой предполагалось основать политику, не существовала.

С точки зрения политики физиократы были односторонне аграрными [мыслителями]. Они противились разным видам запретов на экспорт зерна, которые сохранялись для того, чтобы держать заработную плату на низком уровне в интересах экспортной торговли. Физиократы настаивали, что целью должна быть bon prix[6] для зерна, что могло бы поддержать землевладельцев в состоянии изобилия (и, кстати, обеспечивать государство единым налогом). Концепция bon prix (близкая родственница справедливой цены) указывала, насколько далеки они были от взгляда, что свободный рынок являлся лучшим судьей того, что было правильной ценой. Правда также, что физиократы утверждали (несколько туманно), что интересы индивидуума и интересы сообщества находились в состоянии гармонии при ordre naturel. Это был тот принцип, которым позже воспользовался Адам Смит. Но та единица, на которую делалась ссылка в условиях ordre naturel, была не экономической системой, а человеческим обществом в целом.

[5] Естественный порядок.

[6] Хорошая цена.

АДАМ СМИТ (1776)

Адам Смит, а не Кенэ стал основателем политической экономии. Это произошло благодаря важным идеям, которые находились за рамками позиции его предшественника, особенно это касается более реалистических методов шотландца. Но Адам Смит все еще находится на уровне социетальной группы писателей. Его предметом было *богатство* (курсив Авт. — *Прим. пер.*) общества, его *материальное благосостояние* (курсив Авт. — *Прим. пер.*). Для него богатство являлось аспектом национальной жизни и не более того. Специальная ссылка при этом делается на производство, и, соответственно, его интерес сконцентрирован на увеличении производственной эффективности в зависимости от мастерства рабочего и организации труда. Разделение труда в мастерской представлялось ему в качестве парадигмы разделения труда в обществе. Таким образом, он совершил свое величайшее открытие, что разделение труда может быть развито до такой степени, до которой развиты рынки. Следует отметить, что как разделение труда, так и рынок определяются здесь в институциональных терминах.

Адам Смит определил проблему богатства достаточно остро в отношении и к природе, и к обществу. Что касается природы, то он отказывался следовать по пятам физиократов, которые отдавали приоритет природным ресурсам. С самого начала Адам Смит исключает рассмотрение природных ресурсов, так как данный фактор задан изначально. В отношении состояния общества его подход был противоположным. Рассматривая то или иное явление, главным для него было понять, способствует ли данное явление улучшению общества, его деградации или стагнации. Экономическая жизнь — это только лишь один из аспектов национальной жизни, поэтому она должна отражать состояние здоровья или нездоровья национальной жизни. Даже вопрос о том, должна ли политика правительства благоприятствовать сельскому хозяйству или промышленности, должен рассматриваться как жизненно важный, поскольку такая политика зависит от всего комплекса условий в области управления государством (а не так, как мы склонны сегодня думать, — от [чисто] экономических соображений). Наконец, политические крайности, касающиеся национальной безопасности, берутся как некая данность и именно так и поддерживаются, как, например, в Навигационных актах 1649 и 1651 годов.

Ссылка [Смита] на «невидимую руку», которая сделала [двигателем экономики] личный интерес мясника и булочника, была впоследствии невероятно гипертрофирована. Адам Смит хотел, как раз наоборот, осудить идею о том, будто личный интерес купца естественно служит благу сообщества. Он требовал, сажем, чтобы британское правительство управляло Индией, а не купцами Вест-Индской компании, интересы которой, как он утверждал, противоречили интересам населения, в то время как интересы правительства сопутствовали этому интересу (например, в области налогообложения). Личный интерес [у Смита] еще не дифференцирован в экономические мотивы работодателей и наемных рабочих. Но, в общем и целом, такой подход является все еще институциональным, историческим и социетальным.

ДЖОЗЕФ ТАУНСЕНД (1786)

Экономисты-классики после Адама Смита основывали свой подход на предположении о существовании институционально отделенной экономической сферы в обществе. Воспользуемся физиологической аналогией: что касается социетальных авторов, то, судя по ним, экономика была функцией социального организма в целом. Теперь же экономика стала чем-то более определенным [и самостоятельным], как, например, переваривающие пищу органы тела. Переход был до некоторой степени постепенным: Таунсенд, к примеру, просто ухватился за автономию рынка труда. Мальтус все еще оставался позади [коллег-экономистов] из-за своего консервативного взгляда и приверженности к социетальному подходу вообще. Полностью этого [то есть экономистического подхода] достиг только Рикардо.

Таунсенд был прямым предвестником Мальтуса. Его труд «Замечания к законам о бедных» был написан спустя лишь десять лет после опубликования «Богатства народов». (Подобно Мандевилю и Кенэ, он не имел медицинского образования.) Его весьма беспокоило влияние законов о бедности, пережитка елизаветинской эпохи. Церковные приходы были недавно присоединены к системе предоставления работы для здоровых телом бедняков, находящихся по соседству, а если это не удавалось, то [приходы были обязаны] предоставлять помощь «на вынос» в соответствии с Актом Гилберга 1782 года. Таундсен, как и многие другие из его современников, предлагал аннулировать законы о бедных, чтобы бедные были вынуждены заниматься поисками работы за любую заработную

плату, которую они могли бы найти. Что же касается помощи согласно законам о бедных, утверждал он, то она искусственно поднимала рождаемость [бедняков] за счет других [людей], жизнь которых, соответственно, укорачивалась. Он настаивал на том, что если бы не было такого вмешательства, как законы о бедных, то существовало бы естественное равновесие между производством пищи и населением.

Его парадигма была взята с острова Робинзон-Крузо, находящегося недалеко от берега Чили. Было зарегистрировано, что пираты, которые кишели на морских путях испанцев, использовали этот остров как своего рода станцию, где они обеспечивали себя провизией. Хуан Фернандес, первооткрыватель острова, оставил там пару коз, которые невероятно размножились. Испанское правительство приняло решение разрушить это пиратское гнездышко и высадило на тот же остров пса и суку. Собаки тоже стали щедро размножаться, поскольку обнаружили здесь множество еды в виде коз. Через какое-то время козы были вынуждены искать прибежища в гористых частях острова, где только самые быстрые и выносливые собаки были способны настигать их и убивать. В конечном итоге прирост собак приостановился, и был достигнут баланс между количеством собак и коз. Таунсенд провозгласил, что такое состояние мира и порядка было достигнуто без какого-либо вмешательства магистрата. Самая мощная сила из всех — зависимость всех животных от предложения пищи, необходимой для выживания, — сделала это. Таким же образом, утверждал он, простая аннуляция системы помощи бедным автоматически решит проблему пауперизма. Голод может принудить бедных работать за любую заработную плату, которую они могут найти, и их количество будет регулироваться количеством пищи, имеющейся в наличии. Здесь Таунсенд целеустремленно ссылался на экономический мотив, то есть на мотив, который при отсутствии законов о бедных заставит любого участвовать в производстве без какого-либо административного принуждения.

ТОМАС МАЛЬТУС (1798)

Мальтус превратил мысли Таунсенда в слова, знаменитые по всему миру. Он резко возражал против оптимистического гуманитаризма (humanitarianism) своего отца и восхищения работой Годвина «Политическая справедливость» (1793). Казалось, что гуманитарианцы (humanitarians) отрицали, что бедность неизбежна и что для иско-

ренения пауперизма требовалось нечто более, чем просто пожелание этого. Теорема Таунсенда о козах и собаках дошла до Мальтуса в изложении Кондорсе. Но почему в человеческом обществе всегда должно не хватать пищи? Мальтус дал исчерпывающий ответ, который подразумевался в рассказе Таунсенда. В природе существует сила, которая влияет на увековечение голода, — это секс. Она всегда следит за тем, чтобы количество человеческих существ было таким, чтобы оказывать давление на предложение пищи. Если рождается детей больше, чем можно прокормить, то излишнее количество должно быть убито посредством или войны, или эпидемии, или голода.

Таким образом, автономия экономической сферы охраняется санкцией самой природы. Ничего, что только есть в силах правительства, не может изменить эти законы. Место экономической системы в обществе подчинено влиянию силы, причем не силы общества или правительства, а силы самой природы.

ДАВИД РИКАРДО (1817)

Главный интерес Рикардо заключался в определении законов, согласно которым различные классы населения принимали участие в дележе национального дохода. Он объединил мотивы голода и дохода с мотивом прибыли в качестве общей мотивации, определяющей человеческое поведение. Личный интерес, туманно выделенный Адамом Смитом, теперь дифференцировался в страх перед голодом у рабочего и в надежду получить прибыль — у владельца капитала. Рынок, который Адам Смит привнес как фактор, определяющий величину степени, до которой разделение труда было возможно, теперь разделился в систему «предложение — спрос — цена», включая определение рабочей силы и земли. Теперь общество было включено в экономическую систему, а не наоборот. Социальные классы были определены их рыночной ролью, поскольку они олицетворяли фактор спроса и предложения, соответственно, на различных рынках (таких как рынок рабочей силы, земли, капитала, профессиональных услуг и т.д.).

Место экономической системы в обществе было теперь определено экономическими мотивами голода и дохода. Они объясняли такие экономические законы как железный закон заработной платы, а также закон ренты (кроме того, мальтузианский закон и еще один закон природы — закон уменьшающейся отдачи). Как идеологические, так и политические устремления изменить ход экономи-

ческих процессов были бы безрезультатными. Общество руководствовалось законами, управляющими рынком, а они, в свою очередь, определялись самой природой.

Это теоретическое смещение места экономической системы в обществе, конечно, сопровождалось огромным развитием фактических рынков, которые во времена Адама Смита еще не существовали до такой степени. Конкурентные рынки, денежная экономика и мотив прибыли, вместе взятые, привели к необходимости сокращать издержки. Это подразумевало применение экономического принципа, как его начали называть. Таунсенд, Мальтус и Рикардо создали современную концепцию отдельной автономной экономической системы, управляемой экономическими мотивами и подлежащей экономическому принципу формальной рациональности (то есть экономизирование).

ГЕНРИ КЭРИ (1837)

Рикардианская экономическая теория подвергалась атакам со всех сторон как абстрактная, догматичная, дедуктивная, отдаленная от жизни и институтов, космополитичная и нечеловечная. Реакция распространялась по всему миру. Фактически рикардианская экономическая теория подходила [только] к английским условиям и выражала [только] английские интересы. Промышленная революция была английским явлением. Адвокаты свободной торговли рикардианской школы знали преимущества превосходной промышленной силы Англии.

Генри Кэри сформулировал американские протекционистские потребности. Проделывая это, он обратился: а) к истории и б) к институциональным аргументам.

а) Его попытка опровергнуть рикардианскую теорию ренты была основана на фактической исторической последовательности заселения земли. Он утверждал, что сначала выбиралась [вовсе] не лучшая земля, поскольку та была болотистая и недоступная. Это оказалось справедливым не только в отношении Соединенных Штатов (см. работу Тернера о «Границе»), но также и в отношении древней истории. В Англии Дорога паломников, которая соединяет неолитический Стоунхендж с Кантербери, пролегает вдоль склонов холмов.

б) Утверждения Кэри в отношении развития соседского хозяйства были социологическими по своему характеру и предчувствовали закон Тюнена. К этому тезису он сделал добавление, что

разделение труда в сельскохозяйственных регионах должно происходить в соответствии с нуждами городов и, кроме того, интенсификация сельского хозяйства зависит от появления фермерских хозяйств.

ФРИДРИХ ЛИСТ (1840)

На Фридриха Листа большое влияние оказал Генри Кэри, и Лист применил метод Кэри к своей собственной стране — к Германии. В руках Листа этот метод привел к теории стадий развития. Стадии были следующими: а) сельская жизнь; б) сельское хозяйство; в) сельское хозяйство, объединенное с промышленниками; г) финальная стадия — сельское хозяйство, промышленность плюс коммерция. «Экономической задачей государства является привести в существование при помощи юридического и административного воздействия условия, требуемые для прогресса нации, проходя через все эти стадии». Молодые страны нуждались в протекции, утверждал он, до тех пор, пока они не достигнут стадии индустриализации, подобной тем, которая уже имеется в более развитых странах. Доводы Листа основывались на социальной антропологии, экономической истории и институциональных аспектах. Сейчас на него глядят как на специфического предвестника, если не как на основателя, немецкой исторической школы экономики.

КАРЛ МАРКС (1859)

Третий писатель этой группы занимает особое место. Оппозиция Карла Маркса рикардианской экономике была социетальной, но не во имя страны, а во имя класса. Мальтус и Рикардо обрекли рабочих на вечное нищенское существование. Маркс принял рикардианский анализ как действенный. Следовательно, его единственной альтернативой было отвергнуть всю институциональную систему рыночной экономики. Он утверждал, что промышленный капитализм явился историческим явлением, который может снова исчезнуть так же, как он некогда появился. Этот довод был антропологическим, институциональным и историческим. Он концентрировался на обществе как на целом. Это было дополнено всей философией, которая ярко выделила Маркса из ряда таких писателей, как Кэрри и Лист, которые принимали буржуазный порядок.

Маркс ярко выступает как представитель возвратного движения к социетальному подходу. Все же в то же самое время он ненамеренно укрепил экономистическую позицию. Приняв рикардианскую экономическую теорию, он обратил ее в довод против капиталистического общества. В этом и заключалось значение его труда «Капитал». Капиталистическое общество, утверждал Маркс, является экономическим обществом, и поэтому им правят законы, управляющие экономической системой, то есть законы рынка. Однако Маркс не сумел заострить внимание на том, что такое состояние дел существовало только лишь в капиталистическом обществе. Открытие важности экономического при рыночной экономике заставило его преувеличивать влияние экономического фактора в целом, во все времена и повсюду. Это оказалось грубейшей ошибкой. Впрочем, сам Маркс настаивал на влиянии неэкономических факторов в истории, особенно в ранней истории. Тем не менее марксисты создали настоящее кредо из экономического толкования истории. Это способствовало убеждению о господствующем положении не только экономических факторов, но также и экономических мотивов. Это необычайно усилило классику. Социетальный подход, персонифицированный в Марксе, был засушен экономическим элементом, унаследованным им от классиков.

КАРЛ МЕНГЕР (1871)

Менгер был первым экономистом, который провел четкое разделение между вопросом о материальном удовлетворении потребностей и вопросом о размещении ограниченных средств. Относя теорию выбора (или формальной экономики) к размещению материальных товаров, неоклассическая школа определила сферу экономической теории. Теперь она не была больше открытой для критики, касающейся опоры на законы природы, такие как мальтузианский закон, или закон уменьшающейся отдачи. Общая теория цены была создана, и экономический анализ получил точность, которой ему раньше не хватало. Формула равновесия позволила разработать теоремы оптимизации, которые сделали экономический принцип наивысшим.

Густав Шмоллер опубликовал критический обзор труда Менгера. За этим последовала «битва методов», в которой социетальный подход немецкой исторической школы подвергся атаке со стороны Менгера.

Менгер был, по существу, прав, выступая против исторической школы, но он переусердствовал. Соответственно, «борьба методов» настроилась на дискредитацию неоклассических теорий в Германии. Однако четверть столетия спустя, когда неоклассическая теория значительно была продвинута трудами английских, французских, итальянских и американских экономистов, она получила признание и в Германии. Такие издания, как Handwoerterbuch der Staatsissenschaften, а также Grundriss der Sozialoeconomik, предложили сторонникам «Австрийской школы» публиковать статьи, посвященные основным теоретическим вопросам. В значительной степени это было результатом вмешательства Макса Вебера.

МАКС ВЕБЕР (1905)

Для него социетальный подход был представлен в основном марксизмом, экономистический — учением Менгера, Мизеса и других членов неоклассической школы. Марксистское влияние не было ограничено ортодоксальным марксизмом. Это было отражено в работе таких немарксистских ученых, как Фердинанд Тонниз, Франц Оппенгеймер, Вернер Зомбарт, Карл Лампрехт и Роберт Михельс.

Макс Вебер был экономическим либералом и убежденным сторонником жизнестойкости капиталистической экономии. Хотя он и не был приверженцем laissez fair, он еще дальше находился от [симпатий к] любой форме плановой экономии. Соответственно, марксистское влияние привело его к парадоксальному результату: он принял первичность экономического фактора, но, будучи убежденным в превосходстве рыночной системы, он стал не столько марксистом, сколько «маркетистом» (то есть рыночником. — *Прим. пер.*).

Вебер сознательно включил как субстантивное, так и формальное значение в определение экономического. Он утверждал, что «экономическое» означает обеспечение средств для материального удовлетворения потребностей, но он также настаивал на том, что внутреннее экономическое поведение отличается чистой рациональностью, наиболее типичную форму которого мы встречаем на акционерной бирже. В связи с этой двусмысленностью термины Вебера оказались очень полезным инструментом для капиталистической экономической науки, в которой царит та же связь значений. Однако за пределами капитализма включение чистой раци-

ональности в определение экономического поведения сделало этот термин непригодным для общей экономической истории.

Обратите внимание на веберовское определение экономических товаров: связка утилитарностей! Сами утилитарности определены как связка натяжений и напряжений, как, например, единство отдельных, единичных физических эффектов. Пример Вебера: «Не лошадь как таковая является объектом изучения в экономической жизни, а просто [производимые ею] отдельные и четко определенные услуги».

И все же в течение большей части человеческой истории владение лошадью было желанным, и не только в связи с отдельными и ясно выраженными эффектами «тяни-толкай, жми и натягивай» [то есть производства услуг, предоставленных лошадью], а, скорее, в связи с самой лошадью как таковой, которая заключает в себе общественную значимость и т.д.

В то время как экономическая теория должна быть в состоянии определить факторы, влияющие на цену механической силы, будь то лошадь как источник силы или нет, экономическая история имеет дело, inter alia[7], с фактическими мотивами, ведущими к одомашниванию лошади, ее роли в престижной экономии и т.д. С этой точки зрения измерение в «лошадиных силах» может иметь мало значения.

Вебер также проводит различие между товарами и услугами. «Полезные услуги, когда они предоставляются нам вещами, будут коротко называться товарами; когда же они предоставляются человеческими существами, то будут называться услугами. Так, человеческое существо оказалось в прямой аналогии с вещами. Человек рассматривается как услугооказывающая вещь. Только таким образом термин «полезные услуги» может быть эффективно получен одинаково от вещей и от людей. Такое отделение необходимо для целей экономической теории, которая использует полезные услуги как единицу; ведь только так можно проводить экономический анализ, чтобы применять его ко всем типам товаров и их различным взаимоотношениями, таким как заменяемость, дополняемость и т.д. Но с точки зрения экономической истории такое определение бесполезно. В царстве экономических институтов полезные услуги вещей и услуги, оказываемые человеческими существами, должны быть резко разграничены. Первые относятся к неодушевленному объекту, а другие — к живому человеку, поэтому с точки зрения экономи-

[7] Среди прочего (*лат.*).

ческих институтов они являются совершенно различными категориями. Вопрос мотивации, например, ставится совершенно иначе в отношении производства благ или же трансфертов, чем в отношении оказания личных услуг. Попытки уравнять обе эти категории были бы бессмысленны. Мотивы для услуг находятся в другой категории, нежели мотивы для передачи товаров. По своему существу одно — персональное, а другое — не персональное. Если смешать эти две группы мотивов, то можно спутать институциональный аспект экономической истории.

В конечном итоге Макс Вебер — тот, кто соединил оба значения слова «экономический» ради общего употребления, — обнаружил, что он сам противоречит общему употреблению с важной точки зрения. Критерий рациональности предполагает человека, делающего выбор между использованиями ограниченных средств, которыми он распоряжается. Вебер продолжает: «Распоряжение сочетает в себе распоряжение своей рабочей силой». Это неизбежно, ведь как иначе могла быть разработана теория рынка рабочей силы?

И все же из этого следует, что единственным видом экономической деятельности рабочего является продажа его рабочей силы и, возможно, деятельность в его собственной домашней сфере.

Вебер говорит: «Как и раб, который трудится под хлыстом своего хозяина, является не более чем орудием труда и сам не осуществляет какую-либо экономическую деятельность, так и заводской рабочий не занят на фабрике экономической деятельностью (хотя в своем домашнем хозяйстве он и может быть экономически активным!)».

И это абсолютно логично. Поскольку рабочий продал свою рабочую силу, которая больше уже не является его собственной, то на фабрике он не выбирает какие-либо виды ограниченных собственных ресурсов и не распоряжается ими. Следовательно, было бы бессмысленно утверждать, что он там экономически активен. Однако общепринятое представление является весьма отличным от этого. Утверждать, что рабочий на фабрике не занят никаким видом экономической деятельности, не только противоречит общепринятому представлению, но и звучит подобно парадоксу сомнительного вкуса. Исключение каждодневной деятельности производителей из объема экономической деятельности является совершенно неприемлемым для тех, кто изучает экономические институты. То, что единственным видом экономической деятельности, осуществляемой на шахте или на фабрике, должна считаться только дея-

тельность владельца акций, который продает свои акции, является для того, кто исследует институт шахты или фабрики, бесполезным предположением. И все же определение Вебера отрицает даже то, что управляющий осуществляет экономическую деятельность на гигантском предприятии, работой которого он руководит, поскольку он распоряжается не своими собственными средствами.

С точки зрения экономической истории попытка Вебера является синтезом социетального и экономистического подходов, открытым для критики. Его неспособность принять решение в пользу субстантивного значения понятия «экономический» свела на нет его устремления пролить свет на проблемы общей экономической истории.

СУЩНОСТЬ ФАШИЗМА[1]

Победа фашизма свидетельствует не только о закате социалистического движения, она знаменует конец христианства и всех его поздних суррогатных форм.

Нападки германского фашизма как на представителей рабочего движения, так и на религиозные организации не случайны. Они выражают в символической форме скрытую философскую сущность фашизма, которая лежит в основе его враждебности к социализму, христианской вере и т.п. Именно это мы собираемся показать.

Социалистические партии и профсоюзы подвергаются преследованиям со стороны фашистов по всей Центральной Европе. Но то же самое можно сказать и о христианских пацифистах и религиозных социалистах. В Германии национал-социализм насаждается как некая религия, противостоящая христианству. Его конфессии испытывают гонения не за то, что они вступают в недостойное христиан соперничество со светской властью, а за то, что при всех уступках мирским вызовам они не отказываются от своих убеждений. Государство не устраивает независимость протестантских церквей. И пока они успешно отстаивают эту независимость, власти хладнокровно продолжают политику секуляризации общества и образования. Даже католическая церковь в Германии служит мишенью резких нападок. Сомнительно, что в Италии Латеранские соглашения оправдали возлагавшиеся на них надежды. Там, где церковь внешне сохраняет свой авторитет, например в Австрии, ее политические и моральные позиции более чем шатки.

Может показаться, что мы преувеличиваем важность некоторых событий в Германии и не учитываем того факта, что противостояние фашизма и христианских конфессий не является универсальным.

Безусловно, католическая церковь придерживается в разных странах разной политической линии, и даже в рамках одного государства отношение отдельных христианских общин к фашистским

[1] Karl Polanyi, "The Essence of Fascism", in J. Lewis, K. Polanyi and D. K. Kitchin (eds.), *Christianity and the Social Revolution*. London: Victor Gollancz, 1935, p. 359–394. Перевод М. А. Юсима.

властям может быть различным. В своей энциклике Quadragesimo Anno папа вступил на путь компромисса с фашистскими взглядами на общество. И хотя это случилось еще до победы национал-социализма, направление, в котором Рим собирается двигаться в дальнейшем, было обозначено вполне определенно. Попытки формирования в Австрии своего рода католического фашизма служат этому окончательным доказательством.

Однако эти примеры намерений католиков найти компромисс свидетельствуют скорее о значительности конфессионального конфликта в Германии, серьезность и масштабы которого не следует недооценивать. Они подкрепляют наше убеждение в том, что именно в национал-социализме следует искать философские и политические истоки оперившегося фашизма. Аналогичные движения в других странах представляют собой лишь недоразвитые варианты прототипа. Итальянский фашизм, вопреки заявлениям Муссолини, не располагает отчетливой собственной философией; напротив, его характерной чертой является заведомое отсутствие таковой. Корпоративная Австрия топчется на месте. Только в Германии фашизм достиг той решающей стадии, на которой политическая философия превращается в религию. Национал-социализм почти настолько же опережает итальянский и австрийский фашизм, насколько социализм в Советской России удалился от попыток социалистических преобразований рабочих правительств Центральной Европы.

Но и в этом случае можно выдвинуть возражения против использования религиозного конфликта в Германии в качестве доказательства наличия неустранимых противоречий между фашизмом и христианством. Во-первых, не следует отождествлять христианство и церкви; во-вторых, нужно иметь в виду традиционные разногласия между последними и социалистическим движением на континенте.

Разумеется, невозможно утверждать, что тот, кто нападает на христианские церкви, нападает и на христианство. История знает слишком много противоположных случаев. И в сегодняшней Германии христианские пацифисты и религиозные социалисты так же далеки от официальных церквей, как и всегда. То же самое можно сказать и о религиозных социалистах в Австрии. Даже общая опасность не может устранить разрыв между живой верой христианских революционеров и организованным культом. Тем не менее, поскольку германская церковь противостоит фашизму, защищая свою веру, значение этого факта с точки зрения ее мис-

сии в целом невозможно отрицать. Между прочим, этим объясняется существенная разница в судьбах западных церквей в Германии и православной церкви в России, где церковь подверглась преследованиям не за то, что она оставалась верна своей христианской миссии, а за прямо противоположное, ибо кто станет оспаривать, что русская православная церковь была оплотом тирании царизма, в то время как социальным идеалам христианства больше соответствовали революционные лозунги.

Это помогает ответить на второе возражение: ссылку на всегдашние раздоры между социалистическими партиями и церквами на континенте. Враждебность между ними существовала с момента возникновения рабочего движения. Но пример России предостерегает от подобных аргументов. Дело в том, что в глазах масс западные церкви не были воплощением христианских идеалов. Тем не менее официальное христианство на словах осторожно признавало идеалистические цели социализма и еще до его появления защищало их всем своим авторитетом. Как бы то ни было, хотя в церквах преобладают реакционные настроения, в настоящее время они волей-неволей должны отстаивать те христианские заветы, которые сближают их с социализмом. Таким образом, национал-социализм преследует церкви не вопреки своей враждебности к марксистскому социализму, а вследствие ее. Вот, собственно, что мы хотим продемонстрировать.

На первый взгляд, все обстоит предельно просто. Нападки на социализм окажутся несостоятельными, если они не вскроют религиозных и моральных корней этого движения. Но у истоков социализма лежат христианские заповеди. Фашисты, которые намереваются избавить человечество от мнимых заблуждений социализма, не могут обойти вниманием вопрос о том, было ли истинным учение Иисуса.

Однако политика имеет дело не с абстракциями. То, что кажется неразрешимым противоречием в рамках чистой мысли, не обязательно выглядит таковым в реальности. Если фашистские правительства идут на серьезный риск, внедряя языческие элементы в христианскую доктрину, у них есть на это веские основания чисто практического характера. Каковы эти основания? Объясняются ли они тактическими соображениями или неизбежно вытекают из поползновений фашизма преобразовать общественную структуру таким образом, чтобы навсегда исключить возможность социалистической перспективы? И почему в таком случае это недостижимо без искоренения всех следов влияния христианских идеалов

на политические и социальные устои западной цивилизации? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо обратиться к философии и социологии фашизма.

I. ФАШИСТСКИЙ АНТИИНДИВИДУАЛИЗМ

Всеобщее убеждение в том, что фашизм не создал своей собственной внятной философской системы, не совсем справедливо в отношении профессора Отмара Шпанна из Вены. За пять лет до того, как принцип корпоративизма стал проявляться в политике итальянского фашизма, он был положен профессором в основу новой теории государства. В дальнейшем он развил эту теорию до уровня философии человеческого мира, подробно говорившей о политике, экономике, социологии, а также общей методологии, онтологии и метафизике. Однако черта, которая делает эту систему особенно значимой с точки зрения нашего исследования, — это не ее оригинальность и всесторонность. Это та манера, с помощью каковой автор обосновывает свою систему идеей, которой так или иначе руководствуются все фашистские школы мысли разного толка, — идеей антииндивидуализма[2].

Установив этот факт в его общем виде, рассмотрим подробнее его менее очевидные следствия.

Шпанн, пророк контрреволюции, начал свою карьеру в обстановке отчаяния и краха среднего класса 1919 года. По его мнению, для нас пробил двенадцатый час. Мы стоим перед выбором одной из двух мировых систем: индивидуализма или универсализма[3].

Если мы не примем вторую, нам не избежать роковых последствий первой. Ибо большевизм есть не что иное, как распространение индивидуалистического учения о естественных правах человека с политической сферы на экономическую. Он не является противоположностью индивидуализму, а служит его логическим продолжением. В отличие от Гегеля, полагает Шпанн, Маркс был настоящим индивидуалистом. В своей теории государства он доходит даже до утопического анархизма. «Вывод марксизма о том, что «государство отмирает», вытекает из внутренне присущего этому учению индивидуализма, который считает, что общество не долж-

[2] «Нравственное падение либерализма, культурный паралич демократии и окончательная социалистическая деградация» при этом неизбежны.

[3] Значение последнего термина у Шпанна не имеет ничего общего с тем, в котором его используют современные христианские конфессии.

но строиться на господстве одних людей над другими, что это «свободный союз» индивидов». Социалистический идеал заключается именно в «безгосударственном» обществе. Исторически индивидуализм ведет к большевизму через демократию и либерализм. «Варварская, жестокая и кровавая» роль либерального капитализма, как определяет ее сам Шпанн, готовит почву для социалистической реорганизации экономической жизни, а представительная демократия является политическим механизмом для перехода к ней. Как только мы допустим, чтобы вирус индивидуализма окончательно разрушил универсализм средневекового общества, у нас не будет другого выхода.

Отличительная черта системы Шпанна — тот способ, с помощью которого он пытается классифицировать этот вирус. Индивидуализм, по его мнению, это не столько принцип, рождающий социальную философию, сколько формальный метод анализа. Он главным образом несет ответственность за порочный причинный подход современной науки к природным явлениям и, следовательно, в конечном счете за индивидуалистический атомизм, с помощью которого мы, к нашему несчастью, стали строить представления об обществе. «Универсализм»[4] Шпанна является полной противоположностью этому всеобъемлющему принципу индивидуализма.

Глубокая убежденность в индивидуалистической природе сил, работающих сегодня на социализм, присуща фашизму во всех его разновидностях. Ведущий немецкий педагог Эрнст Крик противопоставляет национал-социалистическую революцию двум этапам развития индивидуализма, выразившимся, во-первых, в западноевропейской истории последних столетий и, во-вторых, в зарождении социализма, следующим образом: начиная с эпохи Возрождения, говорит он, «народ, государство, общество, экономическая жизнь рассматривались как продукты взаимодействия суммы полностью автономных индивидов... С марксизмом осуществился диалектический переход к коллективности. При социализме сумма ценится выше, чем составляющие ее части; это связано с наличием механизма принуждения, предшественницей которого является тем не менее представительная массовая демократия».

Индивидуализм, по его утверждению, не был, таким образом, преодолен социализмом; произошло лишь смещение центра тяжести. Коротко говоря, социализм был подготовлен демократией.

[4] Термин «универсализм» является общим; специальное название, данное Шпанном его философии, — «тоталитаризм» (Ganzheitslehre).

Ведь социализм есть не что иное, как индивидуализм в другом обличье. Итальянские фашисты точно так же настаивают на том, что социализм имеет индивидуалистическое и либеральное происхождение. По словам самого Муссолини, «наши враги — масонство, либерализм, демократия и социализм». Ему вторит католический фашист Малапарте: «В сегодняшнем демократическом либерализме и социализме торжествует прежняя англосаксонская цивилизация». А вот слова аристократа-реакционера барона Юлиуса Эволы: «Реформация заменила иерархию духовным священством верующих и этим свергла бремя авторитета, сделала всех равными и подсудными лишь своей совести. Вот когда начался социалистический упадок Европы». Но такие же заявления делают национал-социалистические политики. Процитируем Гитлера: «Западная демократия — предшественница марксизма, который без нее невозможно было бы себе представить». То же самое утверждает Розенберг: «Демократические и марксистские течения исходят из тезиса о счастье индивидов». А Готфрид Федер в полуофициальном комментарии к партийной программе мимоходом упоминает о «капитализме и его марксистских и буржуазных сателлитах» — за парадоксальной формой этого мимолетного упоминания кроется тактически хорошо продуманное отождествление индивидуализма с социализмом. Такое единодушие впечатляет. На протяжении жизни одного-двух поколений социализм подвергался критике за его враждебность к правам отдельной личности.

Хотя такие проницательные умы, как Оскар Уайльд, не поддались заблуждению, на нем основано одно из излюбленных обвинений в современной критике; расхожая фраза «большевизм означает гибель личности» постоянно мелькает в литературе для среднего класса. Фашизм не разделяет этого легковесного мнения критиков. Борьба с социализмом является для него жизненно важной, поэтому он не может использовать в качестве ее орудия настолько ошибочные и потому слабые обвинения. Он предпочитает серьезные доводы. Социализм — наследник индивидуализма. Только при этой экономической системе в современном мире индивидуализм может продолжать существование. Вот откуда усилия фашизма по созданию корпуса знаний, которые могут лечь в основу его собственной, то есть радикально антииндивидуалистической, философии. Именно с этой точки зрения для решения нашей проблемы интересны работы таких психологов, как Принцхорн, таких этнологов, как Боймлер, Блюхер и Вирт, таких философов истории, как Шпенглер. Не будет преувеличением сказать, что невидимая пограничн-

ная линия, отделяющая фашизм от всех прочих версий и оттенков реакционного антисоциализма, обозначена именно этой неистребимой и крайней оппозицией индивидуализму. Никакая утонченная разновидность этой идеи, сколь бы возвышенной она ни была, не застрахована от безжалостных нападок фашистов, которые неизменно ссылаются на то, что на индивидуализме лежит ответственность за большевизм. Новые религиозные движения в Германии, пользующиеся поддержкой государства, основываются ли они на расовых, родовых или просто национальных и сверхпатриотических принципах, ополчаются против индивидуализма, даже если не объявляют о своем полном избавлении от этических ограничений. Так, «Политическая этика» Фридриха Гогартена, которая ввиду отсутствия в ней националистического пафоса никак не предвещала будущей карьеры ее автора в Германском христианском движении, ставила своей целью преобразование социальной этики в явно антииндивидуалистическом духе. Неудивительно, что даже католическая церковь, из всех христианских конфессий, как известно, наименее склонная подчеркивать индивидуалистические черты своего учения, сетует на нехристианские наклонности фашизма, ссылаясь по преимуществу на неуважение фашистов к человеческой личности как таковой.

Наконец, Германское вероисповедное движение не страдает обременительными сомнениями, присущими германским христианам. Это германское, а не христианское движение. Оно гордится своим выбором в этой мнимой альтернативе. Теперь оно может во имя религии провозгласить тезис об изначальном неравенстве людей. Главная цель достигнута. Ведь ясно, что демократические принципы индивидуализма вытекают из идеи равенства между индивидами[5].

На таком индивидуализме основана демократия, и фашизм направлен на его разрушение. Это индивидуализм Евангелий. Мы вернулись к исходному пункту. Мы видели, как Шпанн настаивает на том, что демократия является институциональным звеном меж-

[5] Вильгельм Штапель в своей «Теологии национализма» (это подзаголовок «Христианского политика») несколько опрометчиво высказывает свое полное пренебрежение к этике, которая, по его словам, «обязана своим существованием тем, кто все еще не способен проститься с иллюзиями». Эрнст Крик в «Руководстве по образованию» утверждает, что «мы не можем позволить какой бы то ни было императивной этике устанавливать для нас законы и ценности, согласно которым мы должны поступать».

ду социализмом и индивидуализмом. Это делает представительную демократию мишенью нападок фашизма. Чрезвычайно важно осознать, что соответствующие политические представления основаны на неопровержимых фактах.

В Центральной Европе, а возможно, и по всей Европе всеобщее голосование необыкновенно повысило влияние промышленного рабочего класса на социальное и экономическое законодательство, и в кризисных ситуациях парламенты, избранные при народной поддержке, неизменно обращались к социалистическим рецептам. Постоянный рост социалистического движения в условиях представительной демократии является доминантой исторического развития на континенте в послевоенный период. Это главная причина укоренившегося на континенте убеждения, что, если влияние представительных учреждений сохранится, неизбежно наступит социализм. Таким образом, если социализма нельзя допустить, то с демократией следует проститься. Такова логика фашистских движений в Европе. Антииндивидуализм есть не что иное, как осознание этой политической перспективы.

Однако формула антииндивидуализма вполне отвечает и практическим требованиям фашистского движения. Обличение социализма и капитализма как близкородственных порождений индвидуализма позволяет фашизму заявлять о себе массам как о заклятом враге того и другого. Массовое недовольство либеральным капитализмом обращается таким образом против социализма без учета нелиберальных, то есть корпоративных, форм капитализма. Хотя подмена происходит неосознанно, трюк продуман гениально. Сначала либерализм отождествляется с капитализмом, затем либерализм получает отставку, но капитализм от этого ничего не теряет и продолжает свое безбедное существование под другим именем.

II. АТЕИСТИЧЕСКИЙ И ХРИСТИАНСКИЙ ИНДИВИДУАЛИЗМ

Однако нас в данном случае интересует не политика. Надеюсь, мы успешно установили тот факт, что антииндивидуализм присущ всем фашистским школам мысли. Но что именно представляет собой индивидуализм, являющийся предметом нападок фашистов, и какое отношение он имеет к христианству и социализму?

Ответ, который мы попытаемся извлечь из аргументов Шпанна, носит парадоксальный характер. Говоря вкратце, он заключается в том, что индивидуализм, лежащий в основе социализма и являющий собой предполагаемую мишень критики Шпанна, вовсе не тот,

против которого направлены его доводы. Поэтому аргументация Шпанна не может служить удачным критическим вкладом в доктрину фашизма. Но при этом она чрезвычайно ясно обнаруживает подлинную природу проблемы, а именно то понимание индивидуализма, которое является общим для социализма и христианства.

Обвинительный акт Шпанна против индивидуализма основывается на двояком утверждении о том, что понимание последним как индивида, так и общества ложно и противоречиво. Индивидуализм должен представлять людей как изолированные существа, автономные, так сказать, в духовном отношении. Но таких индивидов не существует. Их духовная замкнутость является воображаемой. Наличие таких существ — не более чем выдумка. То же самое справедливо относительно общества, состоящего из подобных индивидов. Оно могло бы или не могло бы существовать — в зависимости от того, решат ли индивиды образовать его или нет. Последнее, в свою очередь, зависит от более или менее случайного стечения обстоятельств: от того, насколько они прониклись симпатией друг к другу, насколько рациональны их представления о собственной выгоде и т.д. Такое понимание общества очень далеко от действительности.

Силу подобных доводов невозможно отрицать. Они фактически неопровержимы. И тем не менее они доказывают прямо противоположное тому, что должны были бы доказывать.

Недостаток шпанновской критики индивидуализма заключается в ее принципиальной двусмысленности. Он пытается опровергнуть индивидуализм, который составляет суть социализма. Это, по существу, христианский социализм. Формально аргументы Шпанна направлены против атеистического индивидуализма. Оба этих вида индивидуализма носят теологический характер, однако отношение к абсолюту одного из них негативно, а другого — позитивно. Один из них действительно является противоположностью другого. Смешивая их, мы не сможем прийти к правильным выводам. Формула атеистического индивидуализма выведена Кирилловым в «Бесах» Достоевского: «Если Бога нет, то я, Кириллов, есть Бог». Ибо Бог — это тот, кто придает смысл человеческой жизни и определяет различие между добром и злом. Если вне меня такого Бога нет, то я сам — Бог, потому что я определяю его сам. Это неопровержимый аргумент. В романе Кириллов решает доказать и проявить свою божественную натуру, преодолевая страх смерти. Он собирается добиться этого путем самоубийства. Его смерть является полным провалом его идеи.

Беспощадный анализ идей Кириллова у Достоевского не оставляет сомнений в истинной природе и ограничениях, испытываемых

духовно независимой личностью. Титанический сверхчеловек — наследник тех богов, о смерти которых объявил Ницше. В вымышленных образах Раскольникова, Ставрогина, Ивана, из которого рождается также Смердяков, но больше всего в образе Кириллова Достоевский дал нам почти математически точное опровержение такого понимания человеческой личности. Шпаннова критика индивидуализма — это запоздалая атака на Ницше, взгляды которого Достоевский подверг анализу на полстолетия раньше[6]. Исторически и Ницше, и Достоевский имели предшественника в лице гениального одиночки Серена Кьеркегора, который за поколение до них в оригинальных диалектических построениях создал и снова уничтожил Автономного Индивида.

Но Отмар Шпанн не просто ломится в открытую дверь, он еще и входит через нее в запутанный лабиринт. В своих хотя и запоздалых нападках на атеистический индивидуализм он опровергает то, что собирался защитить в корпоративном капитализме, — индивидуализм неравных особей, и невольно защищает то, что собирался опровергнуть, — индивидуализм равных. Дело в том, что последний вид индивидуализма неразрывно связан с христианством, а первый — с атеизмом[7].

Христианский индивидуализм рождается из прямо противоположного отношения к абсолюту. «Личность имеет бесконечную ценность, потому что это Бог» — таково учение о братстве людей. Утверждение о том, что у людей есть души, равнозначно утверждению, что их ценность как индивидов неизмерима. Объявить, что они равны, значит утверждать, что у них есть души. Учение о братстве предполагает, что личность не существует вне общины. Реальность общины заключается во взаимоотношениях личностей. Община существует реально по воле Бога.

Лучшим доказательством согласованности этого ряда истин служит тот факт, что фашизм, желая избавиться от одного из звеньев, отвергает всю цепь. Он пытается опровергнуть равенство людей, но при этом вынужден отрицать наличие у них души. Эти положе-

[6] Даже еще до публикации книги о Заратустре.

[7] Титанический индивидуализм выводит ценность личности из утверждения, что Бога нет. Его не следует смешивать с индивидуализмом Лютера, или Кальвина, или Руссо, в своих различных аспектах ограниченным периодом зарождения капитализма. Либеральный капитализм восторжествовал в философии короткого переходного периода, в атеистическом индивидуализме соблазнителя Кьеркегора, единого Штирнера и сверхчеловека Ницше.

ния на самом деле образуют одно целое, как свойства геометрической фигуры. Открытие индивидуальности равнозначно открытию человеческого рода. Открытие индивидуальной души равнозначно открытию общины. Открытие равенства есть открытие общества. Одно предполагает другое. Открытие личности есть открытие факта, что общество равнозначно взаимодействию личностей.

Дело в том, что идея человека и идея общества взаимосвязаны. Фашизм выступает против христианской идеи о единстве человека и общества. Он направлен против концепции личности. Это концепция индивида в его религиозном аспекте. Постоянный отказ фашизма рассматривать индивида в этом аспекте свидетельствует о том, что христианство и фашизм полностью несовместимы.

Христианское представление об обществе заключается в том, что оно есть результат взаимодействия личностей. Все остальное логически вытекает из этого постулата. Основное положение фашизма — что общество не есть результат взаимодействия личностей. В этом подлинный смысл его антииндивидуализма. Указанное отрицание представляет собой созидательный принцип философии фашизма. Это его суть. Из нее вытекают цели фашизма в истории, науке, морали, политике, экономике и религии. Таким образом, фашистская философия заключается в попытке представить себе мир, в котором общество не равнозначно взаимоотношениям личностей. Это такое общество, в котором нет сознательно действующих людей или их сознание не имеет отношения к существованию и функционированию общества. Нет ничего более чуждого христианским представлениям об обществе. Но эти понятия неразделимы. Заслуга фашизма состоит в том, что он установил этот факт. Он справедливо объединил понятия индивидуализма, демократии и социализма. Он понял, что между христианством и фашизмом должна идти борьба не на жизнь, а на смерть.

На первый взгляд, может показаться почти невероятным, что фашизм поставил перед собой задачу, представляющуюся нашим заурядным умам совершенно безнадежной. Но это так. Однако то, что утверждения и намерения фашизма более экстравагантны, чем любые предложения левых радикалов, не должно нас удивлять. Революционный социализм есть не что иное, как новая формулировка и более узкое истолкование истин, общепринятых в Западной Европе на протяжении почти двух тысячелетий. Фашизм есть их отрицание. Этим объясняется его тяга к окольным путям, на которые он вынужден был ступить.

III. РЕШЕНИЯ

Попробуем переформулировать проблему. Можно ли представить себе общество, которое не является результатом взаимодействия личностей? В таком обществе индивид не будет его единицей. Но возможна ли в этом обществе экономическая жизнь, если и кооперация, и обмен (то и другое — взаимоотношения индивидов) в нем исключаются? Как сила денег может появиться, быть поставлена под контроль и направлена на полезные цели, если нет индивидов, выражающих свою волю и желания? И какого рода человеческие существа должны составлять такое общество, если эти существа не могут осознавать себя и это осознание не ведет к их взаимодействию с ему подобными? Известных нам человеческих существ, наделенных сознанием, представить себе таковыми совершенно невозможно.

Тем не менее это так. Фашистская философия намеренно обращается к другим уровням сознания. Их природа описывается двумя понятиями: витализмом и тоталитаризмом. Биоцентрическая философия витализма сформулирована Ницше, тоталитаризм — Гегелем. Но оба термина в данном случае обозначают нечто гораздо большее, чем просто системы мысли. Они говорят об определенных способах существования. Виталистическая философия Ницше была доведена Людвигом Клагесом до крайнего предела. Обычно ее называют теорией сознания «душа — тело». Сходным экстремистским образом гегелевская философия абсолютного духа была перетолкована Шпанном. Она известна под названием философии тоталитаризма, иногда используется более общий термин — «универсализм». Эта теория в некоторых аспектах представляет собой аналогию гегелевской идее объективного разума, но в качестве центрального принципа вместо разума здесь выступает тотальность.

Социальные философии витализма и тоталитаризма описывают разные, а точнее, противоположные виды человеческой экзистенции. Витализм опирается на животный уровень более сумеречного и материального сознания; тоталитаризм представляет неопределенное, туманное и пустое сознание. Субстанция витального сознания называется, как ни странно, душой (термин, введенный Клагесом), субстанция тоталитаризма — духом. Как правило, фашистская мысль перемещается в пространстве между этими двумя понятиями. Именно борьба этих двух концепций позволяет объяснить отдельные прозрения и фатальную противоречивость фашистской философии.

IV. ДУША ПРОТИВ ДУХА

Начнем с общего противопоставления. Первый тип сознания называется душой; он затрагивает уровень растительного и животного существования. Здесь нет эго. Никакого движения к самореализации не возникает, поскольку нет «себя». Поток сознания не устремляется к способности понимания; его вершина — экстаз. Никакие умственные воспарения не конденсируются над поверхностью души и не внедряют острие воли в ткань животного инстинкта. Ни власть, ни ценность не кристаллизуются в дреме племенного существования. Жизнь непосредственна, как касание. Касание действует тогда и только тогда, когда пустой ум дремлет. Личности отделены друг от друга, и в их отношениях нет сочувствия. Касание — это неразбавленная кровь, неосознаваемый прилив[8].

Трудно сказать, кто сыграл главную роль — мужчины или женщины. Но во всяком случае течение жизни определялось исключительно однополыми сообществами, будь то юношеские союзы или матриархальные «сестричества». Сексуальные побуждения тонкой струйкой пробиваются через бурный поток гомосексуальной эмоциональности. Кровь и почва являются метафизической подпиткой этого почти осязаемого слияния души и тела, которое еще целиком находится в лоне природы. Такова структура сознания в чистом витализме.

Другой тип сознания предельно далек от этого. Главным действующим началом, производящим тот уровень сознания, на котором общество не является результатом персонального взаимодействия, выступает дух. В обществе, где господствует тотальность, личности не представляют собой его единиц. Единицы — это политика, экономика, культура, искусство, религия и т.д. Личности связываются друг с другом через посредство той сферы тотальности, к которой они обе относятся. Если они обмениваются товарами, они выполняют потребности тотальности, то есть целого; если они совместно их производят, они вступают в отношения не друг с другом, а с продуктом. Ничто персональное здесь не имеет сущности, пока не объективируется, то есть не становится безличным. Даже дружба выражает не непосредственное отношение двух лиц, а их отношение к связывающей их дружбе. Все, что отдельная личность предположительно содержит в себе из своего субъективного опыта, она находит вне себя в виде бесцветной полупрозрачной объективности.

[8] D. H. Lawrence, Pansies.

Общество есть огромный механизм, составленный из неосязаемых сущностей, из умственной материи; субстанция личного существования представляет собой лишь тень тени. Мы живем в мире призраков, где все как будто бы наделено жизнью, кроме людей.

Оттенки этих двух противоположных направлений варьируются более или менее произвольно, так как каждое из них выражает дух самостоятельной школы мысли. Но присущие им методы и оценки в конечном счете вытекают из идей, соответственно, Ницше и Гегеля. В первой из описанных систем они биоцентричны, то есть им присущи мотивы выживания, аморальности, прагматизма, апатии, а также мифологические, оргиастические, эстетические, инстинктивные, иррациональные, агрессивные побуждения. Во втором случае идеи и ценности логоцентричны, то есть ориентированы и иерархически выстроены под знаком разума, образуют царство объективного бытия ума и духа.

И Ницше, и Гегель были мыслителями великого интеллектуального накала. Зато их нынешние последователи, далеко уступающие им по масштабу, превосходят их своей последовательностью в проведении одной мысли. Клагес — это Ницше без сверхчеловека. Шпанн — это Гегель, лишенный его диалектики. Отсутствие этих существенных элементов делает портретное сходство карикатурным. Но в обоих случаях изменения служат для того, чтобы усилить реакционное содержание. Ницше лишается анархического индивидуализма, Гегель утрачивает революционную динамику. Первый сведен к исступленному анимализму, второй — к статичному тоталитаризму. Очевидно, что эти трансформации служат повышению методологической полезности названных систем для обоснования фашистской философии.

V. ШПАНН, ГЕГЕЛЬ И МАРКС

Шпанновский метод использования концепции объективного разума, заимствованной у Гегеля без его диалектики, является новым способом метафизического оправдания капитализма.

Это хорошо заметно при сопоставлении с Марксовой критикой капиталистического общества.

Маркс говорит о первобытном коммунизме как о первой стадии развития человеческого рода. Повседневные человеческие отношения при ней проникнуты непосредственностью, прямотой, личным началом. В развитом рыночном обществе господствует разделение труда. Человеческие отношения становятся опосредованными; ме-

сто прямой кооперации занимает опосредованная кооперация через обмен благами. Реальное взаимодействие сохраняется, производители по-прежнему обслуживают друг друга. Но это взаимодействие теперь скрыто за кругооборотом товаров, оно безлико, оно выражается в объективном измерении меновой стоимости предметов потребления, которая объективна, как материальные вещи. Материальные блага, в свою очередь, приобретают живые черты, они живут по собственным законам, наполняют рынок и исчезают с него, перетекают с места на место и как будто сами управляют своим движением. Мы живем в мире призраков, но в этом мире призраки реальны. Ведь мнимая жизнь товаров и объективный характер меновой стоимости не иллюзорны. То же самое относится к другим «объективациям», таким как стоимость денег, капитал, труд и государство. Они образуют реальные условия деятельности, в ходе которой человек отчуждается от себя самого. Часть его «Я» воплощается в предметах потребления, которые теперь располагают странной автономией. Это можно сказать и обо всех социальных явлениях капитализма, будь то государство, закон, труд, капитал или религия.

Но подлинная природа человека восстает против капитализма. Реальностью общества являются человеческие взаимоотношения. Вопреки разделению труда они должны быть непосредственными, то есть личными. Средства производства должны контролироваться обществом. Тогда человеческое общество будет реальным, потому что оно желает быть человеческим: взаимодействием личностей. В философии Шпанна как раз отчужденные от человека условия его существования принимаются за реальность общества. Эта лжереальность получает оправдание и благословение на дальнейшее существование. Социальные явления уподобляются вещам, но при этом самоотчуждение замалчивается. Не только государство, закон, семья, обычай и тому подобное становятся «объективациями», как у Гегеля, но и все виды социально-групповых контактов и функций, в том числе в сферах экономической и частной жизни. У индивида не остается никакой опоры, люди попадают в ловушку отчуждения. Капитализм не только оправдывается, но и обретает право на вечное существование.

Антииндивидуализм этой позиции идет гораздо дальше Гегеля. О причине этого нетрудно догадаться. Гегелевская апология абсолютизма и прославление полуфеодального прусского государства ограничиваются в конце концов сферой политической этики; они не касаются личности. Гегель провозгласил «Божественной Идеей

на Земле» не общество, а государство. Но государство для Гегеля само по себе является личностью, и в качестве таковой оно не может полностью отказаться от метафизической субстанции свободы самореализации. Чтобы устранить идею свободы из мира людей полностью, главенство должно получить не государство, а общество. Действительно, в этом и состоит различие между Гегелем и Шпанном. Шпанн уделяет государству очень скромное место в своей системе (которая, между прочим, вполне соответствует средневековым натуралистическим концепциям) и приписывает тотальность обществу в целом. Этим удачным ходом он исключает саму мысль о свободе. Ведь даже государство рабов — всего лишь государство, и поэтому оно может стать свободным. Но рабское общество, организованное столь совершенным образом, что для его существования не требуется принуждения со стороны государственной власти, никогда не станет свободным, у него нет механизма эмансипации. Таким образом, невзирая на использование гегелевского метода, мир людей в его целостности в описываемой системе не составляет личности; это беспомощное тело, лишенное сознания. В нем нет свободы и нет перемен. Трудно сказать, можно ли представить себе общество, столь же чуждое самоопределению.

VI. КЛАГЕС, НИЦШЕ И МАРКС

Если объективный разум наделяет человеческих индивидов сознанием такого рода, которое не связывает их личными взаимоотношениями, то витализм предполагает, что люди вообще не располагают разумным сознанием.

Символом этого экстравагантного течения мысли стала для молодого поколения в Германии философия Людвига Клагеса.

Клагес возводит свои идеи к Ницше. Но из двух образов, созданных умом Ницше, он выбирает только один и придерживается его с большой последовательностью. Ницше, может быть, бессознательно делил свои симпатии между сверхчеловеком и белокурой бестией; Клагес отдал предпочтение последней. Он определяет достижения и промахи своего учителя таким образом: «Ницше был оргиастическим философом; все остальное несущественно». «Все остальное» — это Заратустра, титанический индвидуализм, сверхчеловек.

Клагеса потрясает непоследовательность Ницше. Тот бранит христианство — эту слабонервную, убогую, трусливую религию рабов, восстающую против законов природы и жизни, — и все же от-

казывается принять эти законы сам в нелепой погоне за химерой некоей высшей и более благородной формы существования. При всей его яростной враждебности к христианству Ницше, по мнению Клагеса, так и не преодолел христианского предрассудка, утверждающего, что животная жизнь неполноценна. Ницшеанская философия природных ценностей скомпрометирована элементами духовности. Целью своей жизни Клагес поставил их устранение.

На оргиастической линии мысли Ницше он построил антропологию, включающую в себя теорию познания человеческого характера, доисторической культуры и мифологии. При этом многие его идеи вдохновлены проведенным Й. Й. Бахофеном противопоставлением хтонического и солярного принципов в доисторической культуре. Ядро антропологии Клагеса составляют взаимоотношения между телом и душой, с одной стороны, и разумом — с другой.

Тело и душа тесно связаны друг с другом, потому что для Клагеса душа — это не anima, а animus: физиологический спутник тела. Разум существует отдельно, это принцип сознания. Это вражеский лазутчик в мире души и тела, фактически это недуг. До его рокового вторжения человек жил в первобытной гармонии с окружающим, будучи неразрывно связан с природой. С момента вторжения появляется сознание. Возникает Я. Душа подчиняется разуму, формируется личность — паразитическое образование, в котором роль души сводится к обслуживанию эго. Однако главной формой овладения жизнью для разума является воля, поскольку ему внутренне присуще господствовать. Разум — источник любой воли к власти. Побуждения животных инстинктов непреднамеренны, они напоминают силы, действующие в процессе родов, наподобие майевтики у греков. Сознание и этика — симптомы разумной болезни, наиболее опасной формой которой является христианство. То, что оно называет духом, — яд для души; это воля к власти, направленная на разрушение жизни. Если она преуспеет в своих намерениях, наступит конец человеческого рода.

У Клагеса психология никоим образом не составляет теории сознания. Жизнь бессознательна. Он различает шесть основных понятий психологии, лишь два из которых относятся к сознанию. Тело выражает себя через ощущения и импульсы к движению; душа — через созерцание и импульсы к форме (то есть через магическое или механическое формирование образов); разум — через акты восприятия и волеизъявления. Первые четыре процесса, связанные с душой и телом, могут происходить без участия сознания; это подлинные процессы, в целом составляющие животную и челове-

ческую витальность. Восприятие и воля осознанны, это продукты чуждого жизни и разрушительного начала разума.

Все это имеет мало общего с волюнтаризмом Ницше. По мнению Ницше, волеизъявление есть природная функция жизни, воля к власти — истинное воплощение витальности. По Клагесу, воля есть продукт разума, но разум не является подлинной частью витальности, он породнен с заклятым врагом жизни, духом, которого сам Ницше называл опаснейшим элементом христианства.

В этом и заключается источник непоследовательности Ницше. Напрасно он пытался противопоставить волю к власти христианству — между ними существует фундаментальное родство. Утверждая волю к власти, Ницше, сам того не желая, обосновывал христианство в ином обличье. Этика любви таит опасность не столько как любовь, сколько как этика. Но ведь этика Заратустры не становится менее моральной оттого, что она антихристианская. Личность паразитирует на жизни, будь то личность человека или сверхчеловека. Таким образом, ошибочная психология ведет от одного противоречия к другому. Или мы должны признать волю естественным выражением витальности, и тогда нам придется принять то, чего Ницше не хотел принимать, — нравственное сознание и этику, или мы станем отрицать, как делает Клагес, что воля и разум присущи природе человека, тогда мы можем с полным правом отказаться, как и он, от подчинения жизни господству христианского духа любви. Фактически это выбор между двумя концепциями человека — между человеком, наделенным сознанием, и человеком, лишенным его. Позиция витализма недвусмысленна: естественный человек и естественное общество обходятся без индивидуального сознания. Реальность человека кроется в его способности не быть личностью[9].

Можно назвать две теории общности, с которыми согласуется витализм. Одна из них основана на принципе враждебности Карла Шмитта: по его мнению, категория политики вытекает из феномена враждебности. Условием существования государства, которое является главным институтом политического устройства, выступает признанная необходимость физического уничтожения врага. Государство, таким образом, — это инструмент вооруженной борьбы. Оно существует лишь постольку, поскольку сохраняется эта его

[9] Центральной частью этой антропологии является формирование образов еще не испорченной душой. Это часть теории Эроса, представляющего собой эмоциональный экстаз, имеющий универсальную и не собственническую природу и лишь внешне связанный с сексуальностью.

предполагаемая цель. Всемирное государство было бы заведомым противоречием, потому что такого государства не может существовать ввиду отсутствия у него врагов. Моральные или экономические альтернативы войне принципиально исключаются политикой.

Политическая теория Шмитта хорошо согласуется с внутренне присущим социальной концепции витализма принципом племенной вражды[10]. Это типичный продукт того духа замкнутости, который, как показал Бергсон, является выражением инстинктивной племенной морали, основанной на страхе. Противоположность ей составляет открытая христианская мораль.

Однако политическая теория враждебности не учитывает, несомненно, существующего в человеческих сообществах согласия. Даже если истребление представителей других национальностей является логическим оправданием национального государства, не возможно отрицать, что в обществе наличествуют и элементы гармонии. Ганс Принцхорн, первый ученик Клагеса, объясняет этот феномен следующим образом: животные инстинкты человека вводят нас в такой порядок вещей, в котором царит совершенная гармония. Каждое животное неизбежно заканчивает свой путь в желудке другого животного. Таков экзистенциальный фон того всепроникающего чувства полного спокойствия, которое характерно для всякой животной жизни в ее естественной среде. Принцип «последовательного пожирания друг друга» и отсутствие сознания суть две естественных предпосылки того блаженного состояния, которое ассоциируется с воспоминаниями о заре существования общества.

Эти соображения о природе человеческих сообществ показывают, что Клагес не без успеха пытался очистить Ницше от приписанных ему примесей христианской мысли. В конечном счете он полностью избавил Ницше от каких бы то ни было признаков индивидуализма. Обширное влияние Ницше на современный национал-социализм в значительной степени объясняется убеждением, созданным трудами Клагеса, в том, что витализм Ницше может (а по логике — должен быть) изолирован от индивидуализма. Поэтому он может служить альтернативой для общества, которое не является результатом взаимодействия личностей.

Некоторого внимания заслуживает переоткрытие Клагесом Бахофена. Всегда знаменательно, если какое-то направление мысли

[10] Мы не утверждаем, что тем самым Карл Шмитт принадлежит к виталистской школе.

неосознанно отправляется от пункта, который оказывается развилкой нескольких путей. Труд Бахофена о матриархате помимо Моргана стал главным источником марксистских воззрений на первобытное общество. Маркс и Энгельс были, по-видимому, очарованы не менее Клагеса поэтическим воспеванием мнимого единства человечества в доисторические времена. Однако их мысли развивались в противоположном направлении. Дионисийский принцип Ницше и «душа — тело» Клагеса представляют собой шаг назад, к блаженным очагам девственной гармонии. Марксизм представляет собой шаг вперед, к повторению первозданной гармонии человека с окружающей его средой на более высоком уровне. Таким образом, социализм и фашизм на мгновение оказываются рядом, будучи, так сказать, альтернативными путями к обретению более адекватного человеческого сообщества. Однако путь реакции иллюзорен. Идти назад, но насколько далеко? Немецкие националисты предложили вернуться к состоянию до 1918 года. Реакционные романтики типа Мёллера Ван дер Брука назначили датой 1789 год. Шпанн и германские христиане объявили о контрренессансе, отодвинув таким образом порог отступления на полтысячелетия. Германское движение веры установило, что, пока мы не переведем часы ровно на две тысячи лет, возвращение не будет ни гарантированным, ни прочным. Достижение Клагеса заключается в том, что он доказал: разрушить христианство недостаточно, более подходящий рубеж — десять тысяч лет!

Революционное решение исходило из реалий. Контрреволюционное решение ведет к бесконечному регрессу.

Вернемся к витализму и тоталитаризму. Не стоит рассматривать их как логическую альтернативу. И все же резкий контраст между ними свидетельствует о наличии глубокой пропасти, об их известном противостоянии. Витализм упирает на бессознательное и доисторическое; тоталитаризм — на постсознательное и постисторическое. В первом случае история еще не начиналась, во втором — она уже завершилась. В первом варианте перемены не нужны, во втором — они невозможны. В первой теории реальностью является душа, а разум — фатальным уклонением от нее; во второй — реальность есть разум, проблемы возникают вследствие атавизмов души. В одном случае личность еще не зародилась в лоне общества, в другом — она уже поглощена им. В первой схеме отсутствует диалектика, потому что душа недиалектична; во второй — потому что капиталистическое общество устремлено не вперед, к формированию высшего типа личности, а назад, к бессознательному социальному

организму. Один образ мысли ищет отдохновения от настоящего в животном прошлом, другой — превозносит бесчеловечное настоящее время. Наконец, виталистское понимание жизни, истощенной и разрушенной безликими сущностями мира-разума, не совсем иллюзорно; оно порождается тем положением вещей в рыночном обществе, которое отражено тоталитаризмом. Однако в высокоразвитом социуме эпохи машин единственной альтернативой капитализму является социализм. Последовательный витализм означает конец любой цивилизации и культуры. Тоталитаризм проповедует утрату свободы навечно в мире самоотчуждения и призраков, витализм — возврат к зыбкой слепоте пещеры. Если что-то и оправдывает обе теории, это мрачные перспективы, которые каждая из них демонстрирует по отношению к другой.

VII. РАСИЗМ И МИСТИЦИЗМ

Сегодняшняя фашистская мысль находится в постоянном колебании между двумя крайностями — витализмом и тоталитаризмом. И то и другое вполне отвечает главному требованию фашистской философии — созданию концепции общества, не являющегося результатом взаимодействия личностей. Эта цель достигается с помощью навязывания нам такого представления о человеке, которое направит наше сознание, если будет принято, в совершенно другое русло по сравнению с принятым учением о всеобщем братстве. Однако фашизм явно склоняется в пользу витализма. Именно эта тенденция обнажает глубокие корни его неодолимой вражды к христианству.

В обстановке сегодняшней Германии фашизм наиболее последовательно проявляет свои виталистские симпатии. Расизм и мистицизм вытекают непосредственно из них. Они позволяют витализму удовлетворить двум важнейшим запросам корпоративного капитализма, которым сам по себе он не соответствует, а именно технологической рациональности и национализму.

Любопытно отметить, что и витализм, и тоталитаризм оставляют национализму очень мало места в своей концептуальной структуре. Клагес претендует на открытие антропологических законов, имеющих всеобщее значение; метод объективного разума Шпанна не может обойтись без идеи человеческого рода. В самом деле, и Ницше, и Гегель не были националистически настроены.

Тем не менее, приложив немного выдумки, национальную идею нетрудно заключить в материалистические рамки витализма. По-

нятие расы является общим знаменателем для племенного быта и такого искусственного образования, как современная нация. Национал-социалистическая философия — это витализм с использованием расовой идеи взамен национальной. Ключевой характер понятия расы и нации для фашистской мысли станет понятен позднее.

Потребность в рациональности вызывает больше вопросов. Последняя должна работать, а не только служить идеей, если требуется, чтобы современная машинерия действовала в условиях корпоративного капитализма. Производители на всех уровнях вынуждены использовать интеллект и волю, направленные на достижение результата. Речь идет об организованном сознании психологического эго. Витализм же опирается на неосознаваемые жизненные функции, он устремлен на поиски человека, способного не быть личностью. Именно эта особенность отличает его как философию фашизма. Но как можно вернуть рациональное сознание, не возвращаясь к понятию личности? И как может появиться Я, не отражающееся в Ты? Неотделимая от технологической цивилизации потребность в рациональности нарушает всю целостность построений фашистской философии.

Очевидно, что это религиозная проблема. Точнее, это философская проблема фашизма в религиозной форме. Она заключается в следующем: возможно ли придать моей жизни смысл, если его в конечном счете нет в жизни другого?

Фашизм находит решение в псевдомистицизме. Настоящий мистицизм является результатом и доказательством веры, он не замещает ее. Без веры мистицизм вырождается в формальное состояние ума, без труда заполняемого почти любым эстетическим или религиозным содержанием. Подобный мистицизм относится не к сфере духа, а к сфере души. Возьмем ли мы оргиастический мистицизм язычества или модные мистические увлечения современного эстетизма, все это затрагивает психологию, а не дух. Использование этого пути для доказательства реальности души (или даже животного тела), а не духа — это псевдомистицизм. С религиозной точки зрения, которой социальность внутренне присуща, это негативное явление. Ведь мистицизм представляет собой соединение человека и Бога, при этом Бог отделяет человека от ему подобного. Мистический человек находится рядом с Богом, вечность отделяет его от ближнего. Мистический опыт обнимает всю вселенную, за исключением моего соседа. У мистического Я нет сопоставленного ему человеческого Ты. Поэтому, возрождая средневековый немецкий

мистицизм специально в противовес религиозной вере, фашизм использует его как отдушину для религиозных и эстетических эмоций, во избежание каких бы то ни было уклонений в сторону этики. В мистическом состоянии ума самое возвышенное настроение разума и воли, настоящее обожествление свойств души, сочетаются с полным растворением личности. Однако мистифицированные таким образом рациональность и воля остаются по существу асоциальными. Христианский мистицизм Экхарта выражал стремление средневековой души замкнуться в себе самой вопреки требовательным призывам нового мира к общению и широкому сотрудничеству В национал-социализме мистицизм служит для формирования искусственного центра рационального сознания индивида, не создающего из него социальной единицы. В мистической системе Экхарта сам Бог рождается в человеческой душе, сам Бог управляет ее законами — невозможно представить себе более надежного стража рациональности природы. Таким образом, псевдомистицизм прекрасно соответствует задачам на редкость осмотрительного иррационализма, сочетающего предельную рациональность в отношении человека к природе с полным отсутствием рациональности в отношении человека к человеку. В конечном счете поклонение крови и расе наполняет этот мистический сосуд однородным с виталистической философией содержимым, так что последняя превращается в веру. Таково становление национал-социалистической религии.

VIII. ПОБЕДА ВИТАЛИЗМА

О наклонности национал-социализма к превращению в политическую религию свидетельствует труд Розенберга. Он называет это созданием мифа. Его усилия отражают все аспекты фашистской мысли, с которыми мы познакомились в ходе нашего анализа: ее двоякая зависимость от витализма и тоталитаризма, приспособление витализма к потребностям эпохи машин, тенденция отдавать предпочтение витализму и, в качестве лакмусовой бумажки, антииндивидуализм.

Розенберг попытался сформулировать свою собственную философскую позицию, отвергнув обе системы — и Клагеса, и Шпанна. Однако следует отметить существенную деталь: несмотря на свое критическое отношение к Клагесу, Розенберг сохраняет глубокую симпатию к витализму, в то время как его расхождения со Шпанном гораздо серьезнее.

Розенберг решительно выступает против присущего Клагесу «пессимистического взгляда на цивилизацию». По его мнению, «доцивилизационные силы не могут быть поставлены на службу сверхцивилизиции». Он прекрасно отдает себе отчет в безнадежности попыток устроить современный капитализм на основании того типа человеческого сознания, который свойствен эпохе палеолита. Неовитализм, сетует Розенберг, не усовершенствовал Ницше, объявив вне закона волю к власти, как сам Ницше поступил с Евангелием любви. Он признает, сколь многим национал-социалистическая мысль обязана открытию Клагесом изначального единства души и тела и того состояния полной уверенности, в котором животный человек наслаждается гармонией, не замутненной совестью. Однако, помимо реакционных нападок Клагеса на прогресс, Розенберг отвергает его вредную тенденцию устанавливать общие законы развития человечества. Это полностью противоречит основным принципам философии расизма, которая утверждает, что ничто само по себе не хорошо и не плохо, но все определяется расовой принадлежностью. Розенберг переиначивает антропологию Клагеса на расистский лад. Согласно его утверждению, и гармония души и тела, которую Клагес приписывает первобытному человеку, и лучезарные свойства разума и духа, столь пагубные для этой гармонии у других рас, сочетаются у представителей нордической расы. Ибо у них высшие формы сознания никогда не вырождаются в патологические извращения разума, которые представлены нам христианством. Это продукты дурной крови низших или смешанных рас, в исторические времена населявших Малую Азию, Сирию и Средиземноморский бассейн. Ум нордического человека «виталистичен от природы»; его религия — поклонение солнцу — это ясное убеждение, никогда не поддающееся искушению восточной магии, колдовства и суеверия.

Как бы то ни было, Розенберг с трудом приспосабливает антропологию Клагеса к нуждам арийской мифологии. Он чувствует, что идеализированная душа в ее полной естественной уверенности и гармонии позаимствована Клагесом из религиозных, мифологических, поэтических и археологических памятников народов Малой Азии доэллинистического периода, то есть у той самой «сирийской» расы и «средиземноморского сброда», которых так презирает антисемитская и антикатолическая идеология Розенберга. Кроме того, Клагес имел несчастье верить в утверждения Бахофена относительно первобытного матриархата. Розенберг убежден в патриархальном укладе нордической расы, в этом пункте он непреклонен.

Собственная философия Розенберга по существу является витализмом. «Истина есть то, что утверждается органическим принципом жизни в качестве таковой». Или: «Высшие ценности логики и науки, искусства и поэзии, морали и религии — это не что иное как различные аспекты органической истины расы». Теоретические и практические цели Розенберга лучше всего подытожены возможно, в его словах о том, что «всякая подлинная цивилизация заключается в формировании и лепке сознания в соответствии с вегетативными и витальными характеристиками расы». Важно отметить, что такое понимание расы само по себе вовсе не обязательно биологично. Хотя, как правило, раса отождествляется с кровью не менее часто ее рассматривают как совокупность разнородных элементов, причем происхождение является только одним из них хотя и главным. Таким образом, носителем расы является не тело а душа — такой ход рассуждений позволяет гораздо легче соединить национализм с расовой теорией, чем в любом другом варианте.

Однако если система Клагеса подвергается порицанию только с тем, чтобы восторжествовать в качестве подсознательной основы собственной философии Розенберга, то разрыв последнего со Шпанном куда более решителен. Розенберг с ненавистью и гневом обрушивается на универсализм. Ветхий Завет и еврейский ум, Новый Завет и христианский ум, римская церковь и марксистский социализм, пацифизм и гуманизм, либерализм и демократия, анархизм и большевизм поочередно подвергаются изобличению как подвиды универсализма. В эту категорию заносится почти все, ненавистное автору, — от псалмов до Нагорной проповеди и Манифеста коммунистической партии. Без понимания точного значения которое Розенберг приписывает этому термину, почти невозможно полностью уяснить причины ярой враждебности к христианству проявляемой виталистическим направлением фашистской мысли.

Начнем с того, что этот универсализм не имеет ничего общего с универсализмом Шпанна — общим понятием, которым венский философ обозначает свою теорию тоталитарной системы. По терминологии Шпанна, универсализм — это метод логического анализа, восходящий к определению Аристотеля («Целое предшествует частям») или Гегеля («Истина есть целое»). Когда Розенберг описывает упомянутую систему как универсалистскую, он использует этот термин в совершенно другом смысле. В самом деле, его значение примерно соответствует общепринятому смыслу, вкладываемому в него, например, церковью, когда она обличает расизм за присущее ему отрицание универсализма, заложенного в ее христи-

анском предназначении. Таким образом, в отрицательном смысле универсализм более или менее тождествен антирасизму. В положительном смысле, насколько можно судить по предельно расплывчатому использованию этого понятия в «Мифе» Розенберга, оно соответствует идее человеческого рода. Иными словами, это идея, претендующая на приложение к человеческому роду в целом, то есть ко всем индивидам или группам, его составляющим. Фактически это прямая противоположность расизму, который принимает за аксиому неодинаковую ценность разных рас и, соответственно, отрицает представление о равенстве индивидов и о единстве человеческого рода. В этом смысле универсализм и индивидуализм не противопоставляются, а соотносятся друг с другом. Поэтому Розенберг заявляет, что главным конфликтом философии является противостояние расово-национального принципа, с одной стороны, и индивидуализма-универсализма — с другой.

Этим объясняется критицизм Розенберга в отношении тоталитарной философии Шпанна. Он обличает ее в «индивидуализме, поскольку она универсалистична». Это может показаться удивительным, если мы вспомним, что Шпанн сделал главным принципом своей системы антииндивидуализм. Тем не менее Розенберг справедливо полагает, что ни одно направление мысли, отвергающее национально-расовый принцип (как поступает и Шпанн), не может полностью уклониться от индивидуалистического предположения о равенстве людей. Шпанн отказывается только от рационалистического, материалистического индивидуализма XIX века, а вовсе не от индивидуализма как такового. В конце концов, мы воспользовались тем же самым аргументом, чтобы показать, что нападки Шпанна бьют мимо цели: он не опровергает христианского индивидуализма.

Внятная антииндивидуалистическая философия может воспринимать концепцию человеческого рода только в чисто зоологическом смысле. Отсюда бешеные нападки фашистов всех мастей на самую его идею. Таким образом, национально-расовый принцип имеет две функции: он отталкивается от обоих полюсов понимания человечества как сообщества личностей — и индивидуалистического, и универсалистического. Отрицание фашизмом интернационализма уравновешивается его отрицанием демократии. Корпоративному капитализму присущи и авторитарность, и национализм; он провозглашает как неравенство индивидов, так и неравенство наций. «Интернационализм и демократия нераздельны», — заявляет Гитлер в своей еще недооцененной речи в Дюссельдорфе об основах национал-социализма.

Национально-расовое противодействие индивидуалистически-универсалистскому принципу затрагивает самую суть религиозной проблемы. Высшей ценностью фашизма, будь он национал-социализмом или чем-то другим, является раса или нация; индивид и человеческий род составляют два полюса в представлениях христианской идеологии о человеческом мире в целом. Соответственно этому, осознание неизбежности конфликта с религией было ясно национал-социалистам с самого начала. Если в первоначальной программе партии содержался пункт, позитивно оценивающий христианство, события показали, что его следует придерживаться не более строго, чем других, полностью отброшенных пунктов. Собственная философия Гитлера включает не только расистские убеждения, заведомо противоречащие христианским идеям, но и принципы макиавеллистической тактики, позволяющие ему действовать в соответствии с этими убеждениями, делая реверансы в сторону положительного христианства и не терзаясь угрызениями совести. К тому же в сравнительно ранних примечаниях Готфрида Федера к партийной программе указывалось, что в рамках национал-социалистческого движения возможно возникновение новой религии. Этот признак возможной мысленной оговорки авторов программы был дополнен объявлением войны «положительному христианству» в «Мифе» Розенберга. Он остроумно окрестил евангельское христианство «отрицательным христианством», намереваясь с помощью такой простой выдумки заполнить пропасть между стремлением сохранить добрые отношения с христианством и политикой, направленной на его осознанную замену новой формой язычества. Назначение Розенберга «уполномоченным фюрера по вопросам жизненной философии» состоялось в момент, когда благодаря «Мифу» вся Германия познакомилась с философскими взглядами его автора. Можно лишь гадать, соотносятся ли различия в тоне и оттенках между публичными выражениями взглядов Гитлера и Розенберга с разницей в их положении и функциях. Религиозные войны XVII столетия, которые привели Германию в запустение, представляют собой, по мнению Гитлера, полную аналогию умственному разброду и шатанию наших дней; кровь и нация, борьба за выживание определяют реальность согласно одной из религий, в то время как другая упорно отвергает их во имя опасных химер человеческого равенства и единства человеческого рода. Его уполномоченный твердит о том, что губительный недуг пацифизма и гуманизма, укоренившийся в умах европейцев, порожден вирусом христианства. Он справедливо возводит закоренелый

интернационализм русских коммунистов к духу бесконечной преданности служению на благо человечества, который так ясно выразился в художественном воплощении христианских заветов у Толстого и Достоевского. Ибо социалистическая революция в России является в его глазах не чем иным, как новым всплеском того «духа пустыни», который истощал жизненные силы Запада на протяжении его истории: ремиссией духовной чумы, поразившей языческую душу тевтонской Европы — христианства. Церкви, принимающие универсализм, защищают суть своей веры. Но таковы же и ставки немецких фашистов, которые упорно отрицают равенство людей. Борьба идет между представителями религии, открывшей в человеке личность, и теми, кто поставил в основание своей новой религии уничтожение идеи личности.

IX. СОЦИОЛОГИЯ ФАШИЗМА

Фашистская философия — это автопортрет фашизма. Фашистская социология похожа на его фотографию. Первая показывает фашизм в его собственном понимании, вторая — в объективном освещении истории. Как соотносятся два этих образа?

Если философия фашизма представляет собой попытку создать такую картину человеческого мира, в которой общество не является результатом сознательного взаимодействия личностей, то его социология показывает, что эта попытка сводится к преобразованию общественного устройства с целью исключения любой тенденции развития в сторону социализма. Практическая связь этой философии и социологии лежит в сфере политики; она заключается в необходимости разрушить демократические институты. Дело в том, что, как показывает исторический опыт Европы, демократия ведет к социализму, поэтому во избежание социализма демократия должна быть уничтожена. Фашистский антииндивидуализм есть рационализация этого политического вывода. Таким образом, фашистская философия должна рассматривать индивидуализм, демократию и социализм как связанные между собой идеи, вытекающие из одного и того же понимания природы человека и общества. Нетрудно понять, что речь идет о христианском понимании.

Как бы то ни было, в этом ключе следует рассматривать не только социологические идеи фашистского движения, но и природу фашизма в целом. Понятно, что фашизм не может стремиться только к разрушению демократии; он должен попытаться построить такое общество, в котором всякая возможность возврата к ней будет ис-

ключена. Но какова подлинная природа задач, предполагаемых такой попыткой? И почему она заставляет фашизм цепляться за радикальный антииндивидуализм, неизбежно представляющий собой фашистскую идеологию на ее воинствующем этапе? Для ответа на этот вопрос необходимо хотя бы бегло охарактеризовать природу корпоративного государства.

Несовместимость демократии и капитализма признается сегодня почти всеми одной из причин социального кризиса нашего времени. Разница заключается только в формулировках и акцентах. Доктрина Муссолини утверждает, что демократия — это анахронизм, «ибо только авторитарное государство в состоянии справиться с присущими капитализму противоречиями». По мнению Муссолини, время демократии миновало, капитализм же находится в самом начале пути. В Дюссельдорфской речи Гитлера, на которую мы уже ссылались, говорится о полной несовместимости принципа демократического равенства в политике с принципом частной собственности на средства производства в экономической жизни как о главной причине современного кризиса, поскольку «демократия в политике и коммунизм в экономике основаны на одних и тех же принципах». Либералы школы фон Мизеса утверждают, что воздействие на ценовую систему, практикуемое представительной демократией, неизбежно уменьшает производимый валовой продукт — фашизм, таким образом, получает оправдание как защитник либеральной экономики. И интервенционисты, и либеральные фашисты уверены, что демократия ведет к социализму. Социалисты марксистского толка могут расходиться с ними в понимании причин, но не в том выводе, что капитализм и демократия уже несовместимы, и социалисты всех мастей обличают нападки фашистов на демократию как попытку сохранить существующий экономический порядок с помощью насилия.

В общем и целом существуют два решения: распространение демократических принципов не только на политику, но и на экономику или полное устранение демократической сферы политики.

Распространение демократических принципов на экономику предполагает отмену частной собственности на средства производства и, следовательно, прекращение автономии особой экономической сферы: демократическая сфера политики обнимает все общество в целом. По существу, это и есть социализм.

При устранении демократической сферы политики остается только экономическая жизнь; все общество в целом охватывается капиталистической организацией отдельных отраслей промышленности. Это фашистский вариант.

Ни то ни другое решение до сих пор не было проведено в жизнь. Русский социализм все еще пребывает в стадии диктатуры, хотя тенденция к демократизации явно наметилась. Фашизм волей-неволей прогрессирует в сторону корпоративного государства, хотя и Гитлер, и Муссолини, видимо, полагают, что поколение, выросшее при демократии, не способно дозреть до корпоративного гражданства.

Социологическое содержание социализма заключается, приблизительно говоря, в более полном осуществлении зависимости целого от воли и целей индивида и в соответствующем возрастании ответственности индивида за общее дело, в которое он вовлечен. Государство и его органы работают над институциональным осуществлением этой задачи. Поощрение инициативы всех производителей, всестороннее обсуждение планов, всеобъемлющий контроль над производственным процессом и участием в нем индивидов, функциональное и территориальное представительство, обучение политическому и экономическому самоуправлению, внедрение демократии на уровне небольших коллективов, воспитание лидеров — все это черты организации такого типа, которая превращает общество во все более динамичную среду сознательного и непосредственного взаимодействия личностей.

Социологическое содержание фашизма равнозначно такому устройству общества, которое исключает зависимость целого от сознательной воли и целей составляющих его индивидов. В этом обществе нет места для такой воли и таких целей. Препятствием служит не форма демократии, а ее суть. Такие формы демократии, как всеобщее голосование и парламентское представительство, общественное мнение, формируемое организованными мелкими коллективами, свобода выражения и суждения, осуществляемая через посредство муниципальных и культурных организаций, религиозная и академическая свобода воздействия на общество по соответствующим каналам или совокупность этих форм, — при фашизме все они обречены на исчезновение. При таком общественном порядке все люди рассматриваются как производители, и только в этом качестве. Отдельные отрасли промышленности официально признаются корпорациями и наделяются правом решать экономические, финансовые, производственные и социальные проблемы, возникающие в их сфере деятельности. Они получают почти всю законодательную, исполнительную и судебную власть, которая ранее принадлежала политическому государству. Реальная организация общественной жизни строится на профессиональной осно-

ве. Представительство ограничивается экономической сферой; оно носит технический и безличный характер. Идеи и ценности, как и число лиц, занятых в производстве, никак на это представительство не влияют. Такой общественный порядок не может базироваться на известных нам формах человеческого сознания. Переходный период к другому типу сознания по необходимости должен быть долгим. Гитлер измеряет его поколениями. Фашистская партия и государство не жалеют усилий, чтобы достичь этой цели. Если им не удастся создать гарантирующих ее институтов, крутой поворот общества к социализму почти неизбежен.

Таким образом, краткий обзор объективной природы фашизма подтверждает наше понимание его философии. Фашистская система должна упорно проводить в жизнь задачу, поставленную фашистским движением: разрушение всех демократических партий, организаций и институтов общества. Затем фашизм попытается приступить к изменению самой природы человеческого сознания. Практические мотивы его конфликта с христианством вытекают из этого требования. Ибо корпоративное государство есть такой порядок вещей, в котором отсутствуют как сознательная воля и цели индивида по отношению к сообществу, так и соразмерная им ответственность индивида за его участие в общем деле. Однако наш мир не сможет обойтись ни без этой воли, ни без этой ответственности, пока мы не перестанем рассматривать общество как результат взаимодействия личностей.